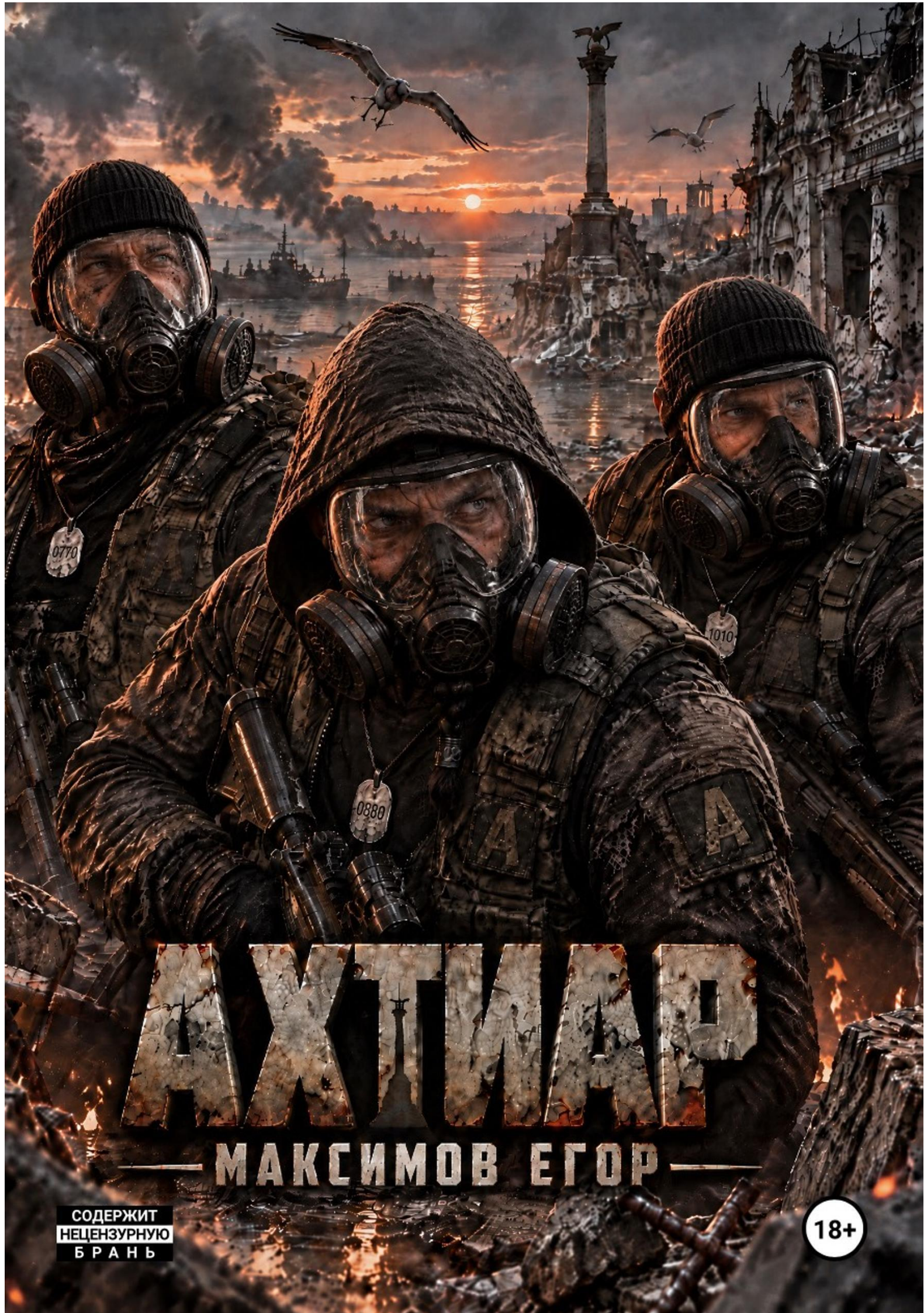




АХИЛМАР

— МАКСИМОВ ЕГОР —

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Егор Максимов

Ахтиар

«Автор»

2026

Максимов Е. И.

Ахтиар / Е. И. Максимов — «Автор», 2026

«Ахтиар: среди руин и пепла» В мире, сожжённом атомным огнём, даже надежда кажется роскошью. Но в убежище «Ахтиар» ещё теплится жизнь — и в ней есть место не только борьбе за выживание, но и настоящей дружбе, верности и любви. Антонов, Валерка и Лёха — сталкеры, для которых слово «товарищество» не пустой звук. Они привыкли смотреть опасности в лицо, идти по краю, рисковать собой ради тех, кто рядом. Их путь пролегает сквозь руины Севастополя, тёмные туннели, заброшенные монастыри и зоны, кишачие мутантами и мазутниками. На каждом шагу их подстерегает зло — жестокое, расчётливое, готовое сломать любого. Это история о том, как в самом мрачном мире можно сохранить человечность. О том, что даже среди пепла и руин остаётся место свету — в преданном взгляде товарища, в тихом слове поддержки, в готовности встать на защиту тех, кто тебе дорог. «Ахтиар» — не просто убежище. Это символ того, что даже в погибшем мире можно найти пристанище для живой души.

© Максимов Е. И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Егор Максимов

Ахтиар

Глава

Пролог

Мост «Миру Мир» нависал над землёй тяжёлой стальной дугой, будто застывшая волна, которую время покрыло ржавчиной и пылью. Под ним было темно даже днём: бетонные опоры отбрасывали густые тени, а редкие лучи, пробивавшиеся сквозь щели в перекрытиях, ложились на землю косыми полосами, едва освещая груды щебня и ржавые рельсы.

Здесь, в этом укромном, но высоком месте, и обосновались четверо сталкеров: Ванёк, Жорка, Ленка и Тарасов. Они пришли сюда не случайно. Сергеевич, который отправлял их в этот рейд, знал: с «Миру Мир» открывается большое, не закрытое горами пространство, и высота давала шанс поймать хоть какой-то сигнал — хоть из Севастополя, хоть из Бахчисарая, хоть из любого другого уголка Крыма, где ещё могли оставаться живые. Он надеялся, что кто-то подаст весточку, что где-то ещё теплится жизнь, что не все убежища замолчали навсегда.

Задача у группы была двойная: проверить старое железнодорожное депо, посмотреть, не уцелело ли там что-то полезное — инструменты, запчасти, горючее, — и заодно попытаться поймать сигналы из других убежищ. Не ради славы, не ради наград — ради того самого хрупкого чувства, что ты не один в этом мёртвом мире.

Ванёк колдовал над станцией — старой, собранной из обломков разной аппаратуры, перепаянной столько раз, что даже он сам уже не помнил, где какой провод должен быть. Жорка сидел рядом, смотрел на шкалу, ловил малейшие колебания, будто от этого зависела его собственная жизнь. Ленка проверяла аккумуляторы — они садились быстрее, чем хотелось бы, и каждый ватт был на счету. Тарасов стоял на стреме, всматриваясь в полумрак, прислушиваясь к звукам, которые в мёртвом городе могли означать всё что угодно: от ветра, гуляющего между балок, до чьих-то осторожных шагов.

И вдруг станция ожила. Сначала это был просто треск — привычный, почти родной, тот, что стал для сталкеров голосом мира. Потом сквозь треск пробился звук — не музыка, не речь, а что-то среднее между ними. Тонкий, дрожащий голос, будто говоривший из самого сердца пустоты.

— ...триста двенадцать... сто пять... лаборатория... установка для... — голос оборвался, захлебнулся в шуме, потом снова прорезался, как лезвие сквозь ткань. — ...не включать... не активировать...

Слова были бессвязными, обрывочными, как будто кто-то кричал в темноте, надеясь, что его услышат. Цифры сыпались, как камни, без всякого смысла: «семьдесят восемь... двести три... сорок один...». И снова: «...лаборатория... установка...».

Ленка замерла, пальцы застыли над переключателями. Жорка наклонился ближе к динамику, будто хотел разглядеть источник звука прямо в решётке. Ванёк тихо выругался, но не от злости, а от напряжения — он знал, что такие сигналы не приходят просто так.

— Ещё! — тихо, но твёрдо сказал Жорка. — Давай ещё.

Станция снова затрещала, и на секунду показалось, что голос вернётся. Но вместо него пришёл только нарастающий гул, который перешёл в пронзительный визг, а потом оборвался так резко, будто кто-то дёрнул рубильник.

Тишина ударила по ушам сильнее любого крика.

— Что это было? — прошептала Ленка, будто боялась спугнуть даже эхо сигнала.

— Не знаю, — отозвался Ванёк, не отрывая взгляда от приборов. — Но это не случайность. Кто-то пытался нам что-то сказать.

Тарасов медленно опустил автомат, но не убрал его — просто перевёл в положение «наготове».

— Лаборатория... установка... — повторил Жорка, словно пытаясь ухватить за хвост ускользнувший смысл. — Звучит так, будто там что-то важное. Или опасное.

— Или и то, и другое, — мрачно добавил Тарасов. — В нашем мире редко бывает просто «важное».

Они переглянулись — не словами, а взглядами, в которых читалось одно и то же: этот сигнал нельзя оставить без внимания. Даже если он приведёт их в самое пекло, даже если окажется ловушкой. Потому что в мире, где почти все молчат, любой голос — это шанс. А шанс — это то, за что сталкеры держатся до последнего.

— Надо сообщить Сергеевичу, — сказала Ленка. — Пусть решает, что делать дальше.

Ванёк кивнул, снова склонился над станцией, будто надеялся, что она вдруг снова заговорит, откроет им ещё хоть кусочек тайны. Но станция молчала. Только треск помех напомнил о том, что секунду назад здесь звучал чужой голос — голос из другого убежища, из другой беды, из другого конца света.

Станция ещё гудела остаточным током, когда из темноты под мостом «Миру Мир» впервые донёлся стрёкот — короткий, резкий, будто кто-то щёлкал кастаньетами прямо у виска. Ванёк замер над панелью, пальцы так и остались лежать на тумблерах. Ленка резко обернулась к проёму, где бетонная арка резала сумрак на ровные куски. Жорка потянулся к автомату, но не вскинул его — пока не хотел спугнуть тишину, которая вдруг стала слишком хрупкой.

А потом из тени вынырнули они.

Мутанты не бежали — они скользили, прижимаясь к земле, извиваясь, будто их тела не имели нормального скелета. Кожа у них была тёмной, маслянистой, будто покрытой слоем мазута, а на боках виднелись странные вздутия, пульсирующие в такт их движению. Головы казались слишком большими для тел, глаза — белыми, без зрачков, и в них не было ни голода, ни ярости, только холодная, механическая целеустремлённость.

Первый бросился на Жорку — не с рёвом, а с тихим, почти музыкальным свистом, который резанул по нервам сильнее любого крика. Жорка успел вскинуть автомат и дать короткую очередь. Тварь дёрнулась, но не упала — лишь попятилась, оставляя на бетоне тёмные маслянистые следы.

— Они быстрые! — крикнул Тарасов, уже занимая позицию у опоры, чтобы прикрыть фланг. — Бейте в голову!

Ванёк сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул в гущу теней. Взрыв грохнул глухо, будто земля сама вздохнула и тут же закашлялась. В воздухе закружились пыль, осколки бетона и чёрные клочья. Но даже после взрыва из дыма вынырнули ещё трое.

Ленка прицелилась и выстрелила, стараясь не думать о том, что патронов мало. Одна тварь рухнула, дёрнувшись всем телом, как сломанная кукла. Вторая метнулась к ней, когти щёлкнули в сантиметре от её руки. Ленка отшатнулась, поскользнулась на щебне, но удержалась на ногах. Тарасов ударил короткой очередью, и мутант отлетел в сторону, врезавшись в ржавую балку.

Бой длился, казалось, вечность, хотя на деле прошло не больше двух минут. Когда последний мутант рухнул, дёргаясь в последних судорогах, под мостом снова повисла тишина — но теперь она была не спокойной, а насторожённой, будто сама темнота затаила дыхание.

— Уходим! — рявкнул Ванёк, голос сорвался на хрип. — Сейчас ещё набегут! Они всегда ходят стаями.

Жорка, не глядя, подхватил коробку с аккумуляторами — самую тяжёлую, но самую нужную. Ленка метнулась к станции, одним движением сорвала кабели, свернула провода в тугой моток, схватила корпус под мышку. Тарасов уже стоял у выхода из-под моста, прикрывая группу, и короткими очередями бил по теням, где что-то шевелилось, шуршало, собиралось в новую стаю.

— Пошли! — крикнул он, отступая спиной вперёд, не сводя глаз с темноты. — Бегом!

Они рванули прочь от «Миру Мир», не разбирая дороги, скользя по щебню, перепрыгивая через ржавые рельсы, врезаясь плечами в бетонные опоры. Воздух пах гарью и чем-то сладковатым, тошнотворным — запахом свежей крови и разложения, который въедался в ноздри и заставлял дышать чаще, будто тело само подгоняло: быстрее, быстрее.

Когда они вырвались из-под моста и оказались на открытой насыпи, ветер ударил в лицо, сдувая липкую пелену ужаса, и на секунду стало легче. Но только на секунду. Из-за поворота насыпи донёсся стрёкот — знакомый, мерзкий, от которого по спине бежали ледяные мурашки. Мутанты шли по следу.

Тарасов оглянулся, оценил расстояние, прикинул время.

— В обход! — выдохнул он. — Через старую дорогу, мимо Инкермана. Там хоть видимость хорошая, не застанут врасплох.

Ванёк кивнул, не теряя слов. Он знал эту дорогу: разбитое шоссе, заросшее бурьяном, с провалами асфальта и остатками старых указателей, которые уже никто не читал. Зато там не было узких проходов, где тварь могла прыгнуть из темноты прямо в лицо.

Часть первая

Глава 1

Выход

— Кирюха... Кирюююха... — я повторял его имя вполголоса, будто пытался не разбудить саму тишину комнаты, а просто слегка потревожить её. Воздух тут стоял густой, пропитанный запахом сырого бетона и старой ткани, и даже шёпот отдавался глухим эхом.

Кирюха лежал на потрёпанном матрасе, пожелтевшем от плесени и времени, свернувшись калачиком, как ребёнок. Он не шевелился, не моргал, будто сон накрыл его плотным одеялом, отрезав от всего мира. Я сделал шаг ближе, опустил ладонь на край стола — и только тогда, уже не сдерживаясь, рявкнул:

— Кирилл!!!

Звук ударил по комнате, как раскат грома в узком тоннеле. Парнишка подскочил так резко, будто под матрасом вспыхнул огонь. Он потянулся, зевнул, и плечи его опустились от усталости, словно на них только что положили ещё один тяжёлый бронежилет.

— Дядь Лёша... — протянул он сонно, едва разлепив губы, — я только недавно с дозора на Западном портале... Пятнадцать часов без сна... Ну пожалейте...

Его голос звучал, как у мальчишки, который умоляет не будить его в школу. Голова снова потянулась к матрасу, будто сама искала забытья, и я видел, как ему хочется просто закрыть глаз, провалиться обратно в темноту и не слышать ни приказов, ни тревог, ни этого вечного «надо».

— А ну не спать! — гаркнул я и с силой ударил ладонью по столу. Дребезг старой мебели прозвучал как финальный аккорд, после которого отступать было некуда.

Кирюха вздрогнул, выпрямился, и сон слетел с него, как пыль с одежды после резкого порыва ветра. Теперь передо мной стоял не сонный мальчишка, а двадцатитрёхлетний боец — высокий, статный, с тёмными, спутанными волосами и лицом, на котором усталость боролась с готовностью подчиняться. Он нахмурился, будто пытался собрать мысли в кучу, и замер по стойке «смирно», хотя никто не требовал от него уставной выправки.

— Сегодня вечером ухожу в рейд к бухте, — сказал я уже спокойнее, но в голосе осталась сталь, не допускающая возражений. — Сергеич послал. Ты и Настя остаётесь. Постарайся в этот раз не вляпаться ни в какую историю. Ясно?

Он молча кивнул, и в этом кивке было не столько согласие, сколько попытка показать: «Я здесь. Я слушаю. Я постараюсь».

— И ещё, — добавил я, чуть жёстче, чтобы до него точно дошло, — Насте передай, чтоб не водила своего хахалю к нам в комнату. Не то приду — их обоих вышвырну в коридоры жить, пусть там уют наводят. Понял?

Ещё один кивок. Кирюха уже тянулся к дверной ручке, будто хотел поскорее выйти туда, где не нужно стоять навтыжку перед дядей Лёшей, где можно снова стать просто парнем, который устал и хочет передохнуть.

Дверь хлопнула, и комната сразу стала тише, будто вместе с Кирюхой из неё ушла часть жизни. Я остался один среди разбросанных вещей, пустых банок и старых карт. Тишина теперь не давила — она была союзницей. Спокойно, без суеты, я начал собирать рюкзак: проверил магазины, уложил фильтр, затянул ремни так, чтобы ничего не болталось. Каждое движение было отточенным, почти ритуальным.

Здесь не было места спешке. Здесь была только работа — тяжёлая, необходимая, без красивых слов. И пока я готовился к выходу, где-то в глубине убежища Кирюха шёл по коридору, потирая лицо ладонью, пытаюсь стряхнуть остатки сна и убедить себя, что день уже начался, хочет он того или нет.

По коридору бродили люди, слышались их негромкие переговоры, пахло гарью.

Пройдя по коридору пару десятков метров, я свернул в открытую комнату, где сидели двое крепких и здоровых парней. Это были Антонов и Валерка; второго в шутку звали Валерьянкой.

— О-о-о, Лёха пришёл! — громко и радостно сказал Антонов и, разведя руки для объятий, стал приближаться ко мне. — Давненько мы не виделись, дружище!

— Та-да уж... — проговорил я и, скинув рюкзак, обнял старого друга. — А вы тут какими судьбами?

— Да мы с Валеркой с Нулёвки решили свалить, а то, скажу я тебе, так и сгнили бы там от скуки да сырости проклятой. Да и Сергеич предложил в рейд выйти — всяко веселее.

Нулёвка была самым нижним уровнем нашего убежища — местом, где бетон казался толще, а тишина — тяжелее. Здесь, в полумраке, подсвеченном тусклыми аварийными лампами, стояли огромные резервуары: массивные, холодные, будто спящие чудовища из серого

камня. Вода в них поступала из подземных источников, и этот ровный, едва слышный гул был единственным звуком, который не давал забыть, что внизу всё ещё течёт жизнь. Но вместе с водой сюда пробиралось и нечто иное — то, что делало Нулёвку не просто складом ресурсов, а зоной постоянной угрозы.

Сюда отправляли двоих бойцов для дозора. Не ради славы, не ради наград — просто чтобы не дать твари проползти выше, туда, где люди спят, где дети шепчутся в темноте, где кто-то надеется дожить до утра. Это был пост, на который шли без восторга, но шли, потому что знали: если не они, то кто?

Зубастики были кошмаром, который предпочитал действовать исподтишка. Они напоминали пиявок, только увеличенных в десять раз, с телами, покрытыми бугристой, почти резиновой кожей, и пастями, похожими на живые шестерёнки — бесчисленные ряды зубов, острых, как осколки стекла. Они не ревели, не топали, не предупреждали. Они подкрадывались бесшумно, сливаясь с тенями, и нападали, когда человек был наиболее уязвим — во сне.

Их тактика была пугающе простой: присосаться, высасывать жизненные соки, пока жертва не превратится в высохшую оболочку. Иногда оба дозорных засыпали от усталости, и тогда их находили утром — холодными, иссушёнными, будто из них выкачали не только кровь, но и саму силу жить.

Но страшнее всего были те, кто успевал проснуться. Представь: ты открываешь глаза, чувствуешь, как по телу ползёт липкий холод, а где-то рядом щёлкают зубы. Ты хватаешься за оружие, стреляешь, гасишь тварь... и думаешь, что победил. Но победа эта была с горьким привкусом. Яд или ферменты, которые зубастики впрыскивали в жертву, разъедали мышцы изнутри. Человек оставался жив, но каждое движение превращалось в пытку. Даже лёгкое шевеление отзывалось такой болью, что хотелось кричать, но крик застревал в горле, потому что любое напряжение делало боль ещё невыносимее. И в конце концов, даже если тварь была мертва, человек всё равно умирал — медленно, в мучениях, которые казались бесконечными.

Я сам однажды стоял на Нулёвке. Помню этот холод, ползущий по спине, когда услышал едва уловимый шорох в темноте. Мой напарник спал, свернувшись калачиком, а из тени уже тянулись эти мерзкие, скользкие тела. Зубастики стрекотали зубами, будто предвкушали пир, и в этом звуке было что-то особенно жуткое — как будто они улыбались. Я среагировал на долю секунды раньше, чем они успели присосаться. Два выстрела в упор разорвали тишину, и твари обмякли, так и не успев насладиться своей добычей. Напарник даже не проснулся от грохота — только вздрогнул и что-то пробормотал во сне. А я остался стоять, чувствуя, как адреналин обжигает вены, и понимая, что сегодня мы выжили. Но это «сегодня» не гарантировало ничего на завтра.

— Это точно, — подхватил Валерка, и его голос прозвучал не как эхо страха, а как вызов ему. — Да и зубастые совсем озверели. Внаглую, бывало, перли на нас. Один день вообще в рукопашную отбивались от них, пока патроны сверху ждали. Жуткое дело...

Он произнёс это спокойно, без надрыва, будто рассказывал о чём-то обыденном — о том, как чинил фильтр или менял лампочку. Но за этой простотой скрывалась настоящая сталь. Валерка не из тех, кто хвастается, но его поступки говорили громче слов. В рукопашной с зубастиками не было места изяществу: только грубая сила, скорость и отчаянная необходимость выжить. Он отбивался топором, прикладом, даже куском арматуры — всем, что попадалось под руку. И каждый раз, когда лезвие входило в плотную плоть твари, а та извивалась и щёлкала зубами, он знал: один промах, одна секунда промедления — и эта тварь окажется на нём.

Валерка встал, и тень от него легла на стену, будто сама комната стала чуть меньше. Он подошёл ко мне, и его шаг был твёрдым, уверенным — шагом человека, который привык нести тяжесть не только своего тела, но и чужих жизней. Протянул руку для рукопожатия — не как формальность, а как молчаливое «мы ещё живы», как подтверждение, что рядом есть

тот, кто прикроет спину. Его ладонь была широкой, мозолистой, тёплой — и в этом тепле чувствовалась не просто жизнь, а воля к ней.

Он был именно тем человеком, который ходил по коридору убежища так, будто сам тоннель был слишком тесен для его размашистой поступи — и казалось, даже бетонные стены чуть отступали, давая ему дорогу. Почти два метра чистой силы, широкие плечи, мощная шея; в каждом движении — уверенность человека, который привык встречать опасность лицом к лицу, не отводя взгляда.

Тёмные кудри падали на лоб непокорными волнами, а длинная бородёнка, заплетённая в тонкую косичку, выглядела нарочито небрежно — словно вызов всей этой серой, угрюмой действительности. Валерка знал, что выглядит странно, и именно поэтому ни за что не соглашался её расплести или стричь: в этом была его маленькая, упрямая свобода. «Пусть хоть борода будет моей», — усмехался он, когда кто-то пытался поддеть его за эту деталь.

Его чёрные глаза вспыхивали, стоило только заговорить о рейде. В них не было холодной расчётливости — только живой азарт, почти мальчишеский, но за ним скрывалась стальная воля. Он первым бросался в атаку, и это не было безрассудством: Валерка чувствовал ритм боя, угадывал момент, когда нужно рвануться вперёд, пока враг ещё не успел собраться. Легенды о его схватках с гигантскими улитками передавались из уст в уста, обрастая новыми деталями, но в основе каждой лежала правда: он действительно побеждал там, где другие отступали.

Для женщин убежища он был воплощением силы и тепла — богатырь из старых сказок, только с автоматом на плече и противогазом за спиной. Они тянулись к нему не только из-за внешности: рядом с Валеркой даже в самых тёмных коридорах становилось светлее. Он умел рассмешить в тот самый момент, когда казалось, что смеяться уже нечему, и этим спасал не меньше жизней, чем своим оружием.

Но за широкой улыбкой и громогласным смехом пряталась глубокая ответственность. Он знал, что люди смотрят на него, ждут от него смелости, и потому не позволял себе показывать страх. Даже когда внутри всё сжималось от предчувствия беды, он делал шаг вперёд — и отряд шёл за ним.

Антонов был другим: без размаха, без лишней энергии. Его шаги были тихими, почти кошачьими, несмотря на крепкое телосложение. Чуть ниже Валерки, но в плечах — такой же мощный, он напоминал сжатую пружину: внешне спокойный, но готовый в любой момент выдать всю свою силу.

В его лице не было ничего броского, но оно запоминалось: резкие скулы, прямой нос, взгляд, который будто видел сквозь стены. Он редко говорил много, а когда говорил — каждое слово имело вес. В убежище его ценили не за красноречие, а за то, что он умел находить выход там, где остальные видели только тупик.

Антонов был следопытом до мозга костей. Он читал следы на пыльном бетоне, как другие читают книги: по едва заметному смещению камешка, по царапине на стене, по странному запаху в воздухе он мог понять, что здесь недавно прошла тварь или пряталась засада. В рейдах он шёл первым, и в этом не было бравады — только привычка брать на себя самую опасную роль, чтобы остальные могли вернуться домой.

История с западнёй возле подземелий Химскладов стала для всех уроком. Тогда, окружённые со всех сторон, они могли бы погибнуть, если бы не холодный ум Антонова. Он не паниковал, не кричал, не пытался прорваться напролом. Вместо этого он нашёл узкий лаз, о котором знали только старые инженеры, и вывел отряд через заброшенные коммуникации, где даже мутанты не решались появляться. Он привёл всех обратно — целыми, живыми, пусть и измотанными до предела. Именно тогда к нему окончательно приклеилось негласное звание человека, который не теряет голову ни при каких обстоятельствах.

С Валеркой они были полной противоположностью, но вместе работали как единый механизм: один рвался вперёд, другой удерживал равновесие. Антонов не осуждал безрассудства товарища — он знал, что в этом мире иногда нужно просто броситься в атаку, чтобы выжить. А Валерка, в свою очередь, никогда не спорил с решениями Антонова: он понимал, что стратегия — это тоже сила, только другого рода.

Их союз был не просто дружбой, а чем-то большим: взаимным доверием, выстроенным на сотнях пройденных километров и десятках спасённых жизней. И когда Антонов тихо говорил: «Пора», Валерка не задавал лишних вопросов — он просто брал оружие и шёл следом.

Химсклады выглядели так, будто сама земля хотела их скрыть: проржавевшие ворота, обвалившиеся козырьки, бетонные плиты, покрытые коркой грязи и сажки. Когда-то это была военная часть, строгая и неприступная, а теперь — логово, где выжившие сами загнали себя в клетку. Подземные бункеры, рассчитанные на ограниченное число людей, с годами превратились в переполненные катакомбы, где каждый метр пространства имел цену, а каждый глоток воздуха казался чуть тяжелее прежнего.

Именно здесь власть взял Альбинос — человек, чьё прозвище звучало как клеймо. Он не просто захватил контроль: он перекроил само понятие порядка, заменив его на свою волю, жестокую и капризную. Его глаза, неестественно светлые, будто выцветшие, смотрели на мир с холодным презрением. Он носил потрёпанный бронежилет поверх рваной куртки, а на поясе — сразу два пистолета, не столько для защиты, сколько как символ: «Я решаю, кто живёт».

Под его началом бункеры Химскладов стали напоминать пороховую бочку: вооружённые приспешники, грубые, готовые на всё, ходили по коридорам с видом хозяев, а простые жители старались не встречаться с ними взглядом. Хаос здесь был не отсутствием порядка, а его извращённой формой — порядком, который держался на страхе.

С годами население росло, а пространство не расширялось. Бетонные стены будто сжимались, выдавливая из людей остатки человечности. И тогда Альбинос нашёл «решение»: слабых — за порог. Сначала стариков, тех, кто уже не мог работать или сражаться, выгоняли на поверхность, туда, где царили мутанты, радиация и пустота. Раз в месяц он устраивал свой мрачный ритуал — оглашал «смертный приговор», и очередной дедушка или бабушка исчезали в тяжёлой тишине коридоров. Потом очередь дошла до людей среднего возраста: тех, кого он считал недостаточно полезными.

Это было не просто жестоко — это было расчётливо. Альбинос отсекал всё, что считал балластом, чтобы сохранить ресурсы для «сильных». Но он просчитался: у людей, которых он лишал родителей, просыпалась ярость. Молодые парни, ещё помнившие, как пахнет свежий хлеб и как звучит смех матери, не могли просто смотреть, как их родных обрекают на смерть.

Восстание вспыхнуло внезапно, как искра в сухом лесу. Но у Альбиноса было оружие, дисциплина и безжалостность. Его приспешники подавили бунт в считанные часы: выстрелы в коридорах, крики, которые быстро затихали, и тишина, ставшая ещё тяжелее от осознания, кто теперь хозяин. После этого страх в Химскладах стал осязаемым — он висел в воздухе, как запах гари, и проникал в каждую щель.

Однажды лазутчик принёс весть, от которой у Альбиноса загорелись глаза: неподалёку существовал другой объект — Двести двадцать первый. Там кипела жизнь: женщины, дети, старики, запасы, пространство. Он был больше Химскладов в несколько раз, и в сознании Альбиноса это место мгновенно превратилось в идеальную крепость. Он хотел не просто выжить — он хотел править.

Но армия его «верных псов» была слишком мала для такой операции. Тогда он придумал сделку, циничную и блестящую в своей жестокости: он прекратит изгнания, если каждый мужчина в Химскладах встанет под его знамя и пойдёт в бой. Это был не выбор, а ловушка:

согласившись, люди теряли право на отказ. И они согласились — не из преданности, а из страха за своих близких.

Через несколько дней Химсклады превратились в военный лагерь. Автоматы раздавали всем подряд, гранаты — тем, кто казался крепче, противогазы и фильтры — каждому. Защитных костюмов не хватило, но Альбинос убедил всех, что поход будет недолгим. «Мы возьмём объект, и защита больше не понадобится», — говорил он с уверенностью человека, который не сомневается в своей правоте. Его слова звучали как обещание, но в них слышался приговор.

Ночью армия Альбиноса поднялась на поверхность. В темноте их строй казался хаотичным, как стая испуганных птиц, но сами бойцы этого не замечали. Они шли вперёд, ведомые жадной новой жизни и страхом перед своим лидером. Их шаги гулко отдавались по мёртвому асфальту, а дыхание в противогазах звучало как хриплый шёпот судьбы.

Они вышли к бывшим виноградным полям — месту, которое когда-то пахло солнцем и спелыми гроздьями, а теперь источало только гниль и пустоту. И тут земля дрогнула. Сначала едва заметно, будто кто-то провёл ладонью по её поверхности, а потом сильнее. Из темноты, словно воплощение кошмара, вылетела огромная улитка — её панцирь мерцал в лунном свете, как мокрая сталь. За ней появились ещё две.

Бойцы Альбиноса открыли огонь, но их выстрелы были беспорядочными, как крики в панике. Они стреляли в темноту, не видя цели, и только вспышки автоматов на мгновение вырывали из мрака чудовищные силуэты. Гигантские улитки двигались с пугающей скоростью, их тела скользили по земле, оставляя за собой липкий след. Через несколько минут всё было кончено: неопытные бойцы, впервые державшие оружие, были раздавлены, буквально смяты чудовищными телами.

Лишь около тридцати человек, включая самого Альбиноса, смогли спастись. Они бежали короткими перебежками, прячась за обломками зданий, и вернулись в Химсклады, оставив на поле боя не только тела, но и часть своей уверенности. Это было первое поражение Альбиноса — горькое и унижительное. Но вместо того чтобы усомниться в своих планах, он лишь крепче сжал кулаки. Его мечта о крепости стала навязчивой идеей, а поражение — топливом для новой ярости.

Извлекая уроки из неудачи, Альбинос решил действовать хитрее. Он выбрал разведку. Через пару недель он отобрал четверых самых крепких бойцов и повёл их на поверхность сам. Теперь они двигались осторожно, короткими перебежками, прижимаясь к земле, как хищники. Им удалось миновать виноградники и почти приблизиться к Двести двадцать первому.

Но в какой-то момент один из бойцов заметил впереди тёмные силуэты — три фигуры, медленно двигавшиеся на полусогнутых ногах, в противогазах, с рюкзаками за спинами. Альбинос дал сигнал залечь. Они укрылись в высокой траве, которая пахла пылью и смертью, и замерли, сливаясь с ночью.

Альбинос хотел подпустить незнакомцев поближе, чтобы атаковать внезапно. Когда до них оставалось всего несколько метров, он подал знак. Бойцы выскочили из травы, окружив сталкеров. Автоматные очереди разорвали тишину, вспышки выстрелов на мгновение выхватывали из темноты искажённые лица и напряжённые позы. Но уже через мгновение стало ясно: что-то пошло не так.

Сталкеры исчезли. Не отступили, не побежали — просто растворились в темноте, будто их и не было. Бойцы Альбиноса замерли, вглядываясь в траву, которая теперь казалась живой, шевелящейся от напряжения. Они знали: противник не ушёл — он затаился, выжидая момент.

Опытные сталкеры, едва услышав первые выстрелы, поняли, что имеют дело с дилетантами. Они использовали свою ловкость, чтобы обойти отряд и зайти с тыла. Несколько минут тянулись бесконечно, как вечность, сжатая в секунды. Бойцы Альбиноса начали медленно пятиться, пытаясь держать под контролем всё пространство вокруг, но каждый шаг назад лишь приближал их к ловушке.

Один за другим они исчезали в траве — бесшумно, как тени. Первый, второй, третий... Никто не кричал, не звал на помощь — всё происходило в зловещей тишине, нарушаемой только тяжёлым дыханием и стуком сердец. Когда Альбинос обернулся и увидел сталкера, выросшего за спиной его бойца, он открыл огонь, стреляя в темноту с отчаянием человека, который понимает, что проиграл.

Патроны быстро закончились. Альбинос бросился бежать, петляя между обломками, стараясь не выдать себя шумом. Он возвращался в Химсклады не как победитель, а как загнанный зверь, чья мечта о крепости теперь казалась насмешкой. Но в его груди разгорался новый огонь — огонь ненависти, который обещал, что это поражение не будет последним.

Теми самыми сталкерами и были Антонов, Валерка и новичок, который, кстати, после этого сражения стал полноценным и заслуженным сталкером двести двадцать первого.

— А зачем хоть Сергеич нас отправляет, не сказал? — поинтересовался я, постукивая пальцами по ржавому краю стола. В воздухе висел запах сырости и старого железа — будто сама комната шептала: «Не выходи, тут хотя бы сухо».

— Да говорит, что те, что до нас ходили, дошли до «Миру Мир» и сигнал поймали там, — ответил Антонов. Он копался в рюкзаке с такой сосредоточенностью, будто искал не карту, а смысл жизни. Наконец выудил потрёпанный лист, развернул его с аккуратностью, с какой разворачивают хрупкую реликвию, и ткнул пальцем в точку, едва заметную среди серых линий. — Вот тут! Но откуда тот сигнал, не поняли, ибо их щиманула тварь какая-то, живёт вроде там. Единственное, что они успели услышать, было что-то вроде просьб о помощи и координаты...

Я наклонился ближе, прищурился, пытаюсь разглядеть в этих каракулях хоть намёк на ясность. — То есть мы точно знаем, куда идти? — перебил я товарища, не скрывая скепсиса.

Антонов почесал затылок, и на секунду его лицо стало почти виноватым. — В том-то и дело, что не знаем... Координаты успели запомнить не полностью, а только первые несколько цифр, и непонятно — долготы или широты. Может, вообще номер чьей-то квартиры был, кто их разберёт. — Он вздохнул, будто сам устал от этой неопределённости. — Короче, Сергеич отправляет проверить, так сказать, дослушать передачу и по возможности проверить место, откуда сигнал шёл. Может, для Ахтиара что-то полезное притащим, а может, приведём... ну, знаешь, как в прошлый раз: вместо припасов — компанию из трёх зубастиков.

Я невольно хмыкнул. Ахтиар... Раньше это слово звучало как имя города, гордое и звонкое. Теперь оно стало почти шёпотом, попыткой удержать прошлое в ладонях, которые всё равно его роняли.

— А если там охрана или твари какие-нибудь ползучие? — переспросил я, всматриваясь в карту, будто она могла сама заговорить и всё объяснить.

— Я же тебе говорю, Лёха, — разведать! — Антонов чуть повысил голос, но в нём не было злости, скорее усталость от необходимости повторять очевидное. — И если будет возможность, то только тогда идти, искать и тащить это сюда. Теперь дошло? — Он резко свернул карту, словно хотел упрятать в неё всю неопределённость мира, и запихал её обратно в рюкзак.

Тут подал голос Валерка, развалившийся на ящике с видом человека, которому все беды мира — не более чем досадная помеха к обеду. — Главное, опять не напороться на этого придурка белобрысого, — протянул он, закатывая глаза так, будто одно воспоминание о противнике уже вызывало изжогу. — А то уже в печёнках сидит — его дураков-дилетантов мочить. Откуда он их только берёт? Небось по объявлению: «Нужны идиоты с автоматами, опыт не обязателен».

Антонов фыркнул, и напряжение в комнате чуть спало. — О да! — подхватил он. — Эти точно всё никак не уgomонятся. Хотя мы будем в другую сторону от них идти, глядишь, и не встретим. — Он выдержал паузу, будто прислушивался к собственным надеждам, а потом

решительно мотнул головой. — Ладно! Хватит трепаться, скоро выдвигаемся. В семь часов жду вас на Восточном портале, и не опаздывайте. Если Лёха опять будет выбирать сухари по степени чёрствости, а Валерка — рассказывать анекдоты про мутантов, мы так до зимы не выйдем.

Валерка театрально приложил руку к сердцу. — Эй, мои анекдоты — это моральная поддержка отряда! Без них в рейде тоска и безысходность. А так хоть посмеёмся, пока убегаем.

Я только покачал головой, пряча улыбку. — Ладно, пойду на рынок. Надо хоть что-то в дорогу взять, а то вчера с Настей и Кирюхой доели всё, что можно было доест. Даже банку тушёнки, которую мы берегли «на крайний случай». Видимо, крайний случай наступил и незаметно прошёл.

— Только не бери эти «энергетические батончики» с рынка, — буркнул Валерка. — В прошлый раз я один съел — и потом три часа чувствовал себя атомной станцией в режиме перегрузки. Энергия была, а вот направления не было: бегал кругами и орал, что я — сверхчеловек.

Антонов уже застёгивал куртку, но на этих словах не удержался и хмыкнул: — Вот поэтому ты у нас и отвечаешь за мораль, а не за провиант.

Я подхватил свой рюкзак, чувствуя, как привычная тяжесть ложится на плечи — не просто вес снаряжения, а вес ответственности. Но сейчас, среди этих шуток и ворчания, тревога казалась чуть менее острой. В конце концов, если идти навстречу неизвестности, то лучше делать это с теми, кто хотя бы умеет смеяться в лицо опасности.

До выхода в рейд оставалось чуть меньше трёх часов. И пусть маршрут был туманным, а цель — расплывчатой, одно я знал точно: мы пойдём. Потому что так было всегда.

Я спустился на первый уровень, который жители Ахтиара называли между собой Дуга, и направился в сторону рынка.

Спуск на первый уровень напоминал погружение в горло какого-то доисторического зверя. С каждым пролётом лестницы воздух густел, теплел, обретал плотность. К тому моменту, когда ботинки касались площадки Дуги, ты уже не дышал — ты заглатывал. Воздух здесь был не просто тяжёлым, он был осязаемым: его можно было почти лизнуть, почти увидеть, и от этого хотелось немедленно вытереть язык.

Дуга жила своей особой, угрюмой жизнью — не той, что теплится наверху, под холодным светом ламп, а той, что кормится суетой, жадностью и чужой усталостью. Сюда, на первый уровень, стекались те, кому не нашлось места в чистых, проветриваемых ярусах Ахтиара, где ещё пытались сохранять видимость порядка. Торговцы, бродяги, девочки лёгкого поведения — все они осели здесь, будто сама тяжесть этого места притягивала тех, кто привык держаться на грани.

Торговцы стояли у своих прилавков, как хищники у добычи: не столько предлагали товар, сколько ждали, когда покупатель сдастся. Их голоса сливались в единый гул — крик, рычание, уговоры, угрозы, всё разом. Кто-то надрывался, расхваливая банку тушёнки с помятым боком, будто это был редкий деликатес, а не сомнительный кусок мяса в желе. Кто-то, наоборот, шептал, склоняясь к прохожему, и предлагал «кое-что особенное» — вещь, которую нельзя выставить на всеобщее обозрение: старый дозиметр, фильтр с почти полным ресурсом, пачку сигарет, которую берегли, как сокровище.

Девочки лёгкого поведения держались чуть поодаль, в полутени, там, где свет ламп не добирался до лиц и оставлял только силуэты. Они не кричали, не тянули за рукав, не спорили с другими торговцами. Их оружие было тише: усталая улыбка, лёгкий кивок, взгляд, в котором читалось: «Я знаю, как тебе сейчас тяжело». Для сталкеров, вернувшихся из рейда, где каждый

шаг мог стать последним, это было почти спасением — не столько тело, сколько возможность на несколько минут забыть, кто ты и где находишься. И в этом не было ни романтики, ни красоты — только горькая, выстраданная необходимость.

Бродяги шныряли между рядами, как тени, стараясь не привлекать к себе внимания. Они не продавали и не предлагали ничего, кроме своего присутствия — навязчивого, липкого, будто прилипшего к подошвам. Кто-то просил милостыню, глядя исподлобья, с той особой смесью унижения и злости, которая появляется, когда гордость уже давно растоптана. Кто-то просто толкался среди людей, в надежде ухватить то, что плохо лежит: забытую сумку, выпавший патрон, банку, которую поставили не туда. Они знали каждый угол, каждую щель, где можно спрятаться, и двигались так, будто сами стены были им союзниками.

А над всем этим висел густой, тяжёлый воздух — смесь запахов, от которых хотелось зажмуриться и задержать дыхание.

Запах набрасывался волной. Не один, а целая армия запахов, каждый из которых по отдельности вызвал бы рвотный рефлекс, но вместе они сливались в нечто настолько монолитное и безжалостное, что организм сдавался и переставал сопротивляться. Тухлые продукты, подгнившая картошка, кислая репа, человеческий пот, вьёвшийся в одежду так глубоко, что уже не отличался от запаха тела. Человеческие испражнения, которые никто особо не стеснялся. И поверх всего этого — сладковатый, тошнотворный дух гнили, будто где-то рядом кто-то забыл мешок с отходами фермы, и тот тихо разлагался уже не первый месяц.

Дуга жила своей жизнью, и эта жизнь была грязной, громкой и совершенно лишённой стыда. Торговцы, немые, с вьёвшейся в ладони чернотой и глазами, в которых читалась вечная жажда наживы, орали во всё горло, перебивая друг друга. Их голоса ударялись о бетонные стены и потолок, возвращались эхом и складывались в какофонию, от которой звенело в ушах. Каждый тянул к прохожему свои руки, совал под нос товар, шептал, басил, обещал, угрожал, умолял — всё в одной фразе, всё разом.

Товар лежал на прилавках, покрытых засаленной тряпкой: картошка с тёмными пятнами мягкой гнили, рыба, от которой уже можно было определить сторону света по запаху, какие-то узлы, обмотанные бечёвкой, содержимое которых оставалось загадкой даже для самих торговцев. Но иногда, если повезёт, если знать нужных людей и уметь держать язык за зубами, у какого-нибудь скупого старикана можно было найти настоящий клад: банку сгущёнки, ещё не вздувшуюся, или куриную тушёнку в жести, с целой этикеткой, выцветшей, но ещё читаемой. Такие находки стоили целого состояния: десятки сигарет, патроны, фильтры для противогаза. Сталкеры нечасто приносили их с поверхности, а если и приносили, то держали при себе, обменивая лишь в крайнем случае.

На Дуге также продавали продукцию верхних ярусов, и в этом была своя ирония: наверху, где воздух был чуть чище, а свет чуть ярче, работники ферм сражались за каждый росток, за каждый саженец, словно это был не урожай, а живое существо. Шампиньоны, выращенные из спор, добытых сталкерами в Инкерманских штольнях, выглядели жалкими и бледными, но были съедобными, а значит, ценными. Картофель и репа, над которыми тряслись, как над младенцами, казались здесь, на Дуге, почти деликатесом среди гнили и суррогатов.

На ферме держали несколько кур и пару петухов. Мутировавших, с перьями, растущими ключьями и гребешками, свисающими набок, но несущих яйца, ничем не отличавшихся от тех, что когда-то продавались в супермаркетах за бумажные деньги, которых больше не существовало. Кур кормили отходами: очистками, объедками, тем, что не доели люди, и тем, что оста-

лось от производства на ферме. Бедное, жалкое хозяйство, но всё-таки живое. И в этом слове — «живое» — было всё.

Освещение на Дуге, да и во всём Ахтиаре, было, пожалуй, единственным, что не вызывало отвращения. Лампы горели ровно, холодно, безмятежно, будто не знали, что освещают. Их питание обеспечивала небольшая гидроэлектростанция, спрятанная в самой дальней части убежища, приводимая в действие подводной рекой, которая же наполняла резервуары на Нулёвке. Эту станцию установили за пару лет до катастрофы, когда Объект Двести Двадцать Один восстанавливали после длительной заморозки, собираясь превратить в Запасной Командный Пункт ЧФ. Военные проложили провода по всему объекту, развесили лампы, наладили автономное питание. Станция работала безупречно, почти не требуя вмешательства человека. Разработка военных — вот что работало хорошо, когда всё остальное рухнуло.

Эти лампы давали свет, но не тепло. Они освещали Дугу холодным, безразличным сиянием, которое не скрывало грязь, а наоборот, подчёркивало её каждую каплю, каждую трещину, каждый потёк на стенах. Свет, который не спасал, а лишь показывал, от чего хотелось спастись.

Я шёл между прилавков, и мои ботинки прилипали к полу, издавая влажный, присасывающийся звук, от которого сводило зубы. Старался не дышать глубоко, не прикасаться к стенам, не смотреть слишком внимательно на то, что лежало под ногами.

Картошка с гнильцой. Банка тушёнки с вмятиной и трещиной по шву, из которой сочилась мутная жидкость. Рыба, чешуя которой уже начала отслаиваться, а глаза помутнели, будто она сама не верила, что кто-то это купит. Да, тут ели и такое. Тут ели всё, что не двигалось, и кое-что из того, что двигалось, пока было не слишком быстрым.

Я искал что-нибудь посвежее, ну или хотя бы похожее на свежее. Понимал, что шансы невелики, но шёл всё дальше, втягиваясь в этот лабиринт прилавков и тел, запахов и криков, где каждый шаг был сделкой с совестью, а каждый вдох — сделкой с желудком.

Я прошёлся по рядам рынка в попытке найти что-нибудь посвежее — ну или хотя бы похожее на свежее. На глаза попадалась только картошка, местами подгнившая, или тушёнка в пробитой банке. Да, тут ели и такое.

Пройдя по рынку ещё несколько кругов в надежде, что я всё-таки мог пропустить что-то стоящее, я заметил у одного из торговцев на прилавке небольшую жёлтую коробочку — немного потрёпанную, но практически целую. Я подошёл ближе.

Торговец заметил меня раньше, чем я успел остановиться у прилавка. Его глаза, маленькие, въедливые, засветились, как у крысы, учуявшей запах чужого запаса. Он был огромен — не просто большим, а по-настоящему громадным, будто кто-то слепил его из кусков теста, забыл раскатать и кинул прямо так, с животом, нависающим над грязным фартуком, с руками, похожими на окорока, и лицом, которое, казалось, не мыли с самой катастрофы. Потёки сала и грязи на щеках напоминали геологическую карту какого-то особенно неприветливого материка.

— Чего вылупился? — прохрипел он, не дожидаясь вопроса. Голос у него был такой, будто кто-то тащил мешок щебня по ржавому железу. — Берёшь чего или так стоишь? Мне тут туристов не держали.

— Да, — ответил я, стараясь не вдыхать слишком глубоко. — Вон та коробочка. Жёлтенькая. Что в ней?

Торговец прищурился, будто я попросил его отдать почку.

— О-о-о, — протянул он, и его толстые губы растянулись в улыбке, от которой хотелось отодвинуться ещё на шаг. — Это, дружок, тебе не картошка гнилая. Это — сушёные бананы. Знаешь, что такое банан? Или ты только из инкубатора вылупился?

— Сушёные бананы? — переспросил я, не скрывая недоумения. — Серьёзно? Они бы протухли лет десять назад. Или сгнили.

Торговец закатил глаза с таким презрением, будто я оскорбил не его товар, а его покойную бабушку.

— Ну так не бери, какой разговор! — рявкнул он, и его брюхо колыхнулось от возмущения. — Чего ты мне тут лекцию читаешь? Эксперт нашёлся, ёлки-метёлки! Не доверяешь — мимо иди! Нечего мне тут прилавков загораживать, я не благотворительная точка. Давай, давай, топай отсюда! — Он махнул рукой, будто отгонял муху, и уже отвернулся к другому покупателю, но я не сдвинулся.

— Нет, постой, — перебил я. — Можно хоть глянуть?

Торговец замер. Медленно повернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то среднее между жадностью и раздражением.

— Глянуть? — хрипло повторил он. — Ты что, в музей? Тут глядят только покупатели. — Он помолчал, явно прикидывая, стоит ли связываться, потом буркнул: — Ладно. Но только с моих рук, не лапай! У меня всё стерильно, не то что твои грязные лапищи.

Он открыл коробку с видом фокусника, достающего кролика, — но вместо кролика внутри лежала масса коричневого цвета, размером с пару спичечных коробков. Она была плотно обтянута прозрачной вакуумной плёнкой — я помнил эту упаковку: раньше так упаковывали всё, от колбасы до сыра, и она действительно могла хранить продукты долго. Но двадцать лет? Спасла ли плёнка то, что внутри, или я сейчас смотрел на мумию давно погибшего фрукта?

Меня разбирало любопытство — глупое, иррациональное, но настойчивое. Бананы. Настоящие бананы. Я не помнил их вкус, но помнил форму, цвет, запах — смутно, как помнят сны. И вот они, передо мной, коричневые, смятые, но — возможно? — съедобные.

— Сколько? — спросил я коротко.

Торговец выдержал паузу. Посмотрел на меня исподлобья, прищурился, будто решал: сдёрнуть с меня побольше или дать скидку, чтобы поскорее сбыть товар. Жадность победила.

— Сто сигарет, — выдал он, и его голос прозвучал с торжественной серьёзностью, будто он оглашал приговор.

Сто сигарет. Я чуть не присвистнул. За сто сигарет можно было купить тушёнки на неделю вперёд и яиц штук пять в придачу. Это была не цена, а грабёж среди бела дня, и торговец это знал — его хитрые глазки подрагивали, ожидая моих возражений.

— Ты рехнулся? — спросил я спокойно. — Восемьдесят.

— Сто, — отрезал он и скрестил руки на груди с видом кремлёвской башни. — И ни меньше. Хочешь банан — плати. Не хочешь — иди ешь свою гнилую картошку.

— Восемьдесят пять, — сказал я твёрдо. — Моё последнее слово. Не устраивает — сиди со своими бананами ещё двадцать лет, пока они в пыль не превратятся. Дураков за сто покупать не найдёшь, и ты это знаешь.

Торговец снова потупил взгляд. Его пальцы забарабанили по прилавку — тук, тук, тук, — будто он вёл невидимый калькулятор. И я видел, как в его голове шла борьба: жадность против здравого смысла. Сто сигарет — это недельный запас пищи, и никто в своём уме не отдаст такое за горсть сушёных бананов. А вот восемьдесят пять... Целых восемьдесят пять сигарет, нераспечатанных, свежих, настоящих. Его ноздри раздулись, будто он уже чувствовал табачный дым.

— Ай, ладно! — прохрипел он, и в его голосе было столько сожаления, будто он отдавал мне собственного первенца. — Бери. Но больше скидок не жди, сталкер хренов.

Я вытащил из рюкзака четыре пачки сигарет — целеньких, нераспечатанных, — которые добыл в позапрошлом рейде из маленького магазинчика в подвале одного из домов. Потом выудил ещё пять штук из начатой пачки и положил всё это на прилавок. Торговец схватил сигареты так быстро, будто я мог передумать, и мгновенно упрятал их в необъятный карман фартука, похлопав по нему сверху, для верности.

— Приходи ещё, — бросил он мне вслед, и в его голосе проскользнула почти дружеская нотка. — Мне тут ещё кое-что есть, тебя подождёт.

Я не обернулся. Спрятал коробочку в рюкзак и двинулся дальше между рядами, чувствуя, как с каждым шагом воздух становится всё гуще, а крики торговцев — всё наглее. Проходя мимо очередного прилавка и приглядываясь, что на нём лежит, я вдруг услышал знакомый женский голос:

Я шёл между рядами, не глядя по сторонам — только вперёд, будто если остановлюсь хоть на секунду, рынок проглотит меня целиком. Воздух тут был тяжёлый, густой, пропитанный запахами прогорклого масла, сырости и чужой усталости — он лип к коже, оседал в горле. Над головами раскачивались тусклые лампы, отбрасывая неровные тени, и в этом мерцающем полумраке лица торговцев казались масками: жёсткими, хищными, привыкшими выторговывать каждый патрон, каждую сигарету, каждую крошку надежды.

— Дядь Лёша! Дядь Лёша! Пойдите!

Голос прозвучал где-то совсем рядом — тонкий, чуть дрожащий, будто она боялась, что я не услышу, не обернусь, просто растворюсь в этом шуме и гаме, как растворялись здесь сотни людей до меня. Я замер, медленно повернулся.

Настя стояла чуть поодаль, будто не решалась подойти вплотную. Высокая, стройная, но сейчас она казалась меньше, хрупче — словно пыталась сжаться, стать незаметной среди всей этой суеты. Светлые волосы, обычно собранные в небрежный хвост, рассыпались по плечам, будто она в спешке поправила их дрожащими пальцами. Её тёмно-карие глаза были широко распахнуты, в них плескалась тревога — та самая, которую она всегда старалась спрятать за улыбкой, но сейчас не смогла.

Она сделала несколько быстрых шагов ко мне, но тут же замерла, будто боялась нарушить невидимую границу.

— Кирюха сказал, что вы сегодня в рейд уходите... — тихо проговорила она, и голос её чуть дрогнул на последнем слове. — Надолго?

— Да на пару-тройку дней, не больше, — ответил я, стараясь говорить спокойно, ровно, чтобы хоть капля моего спокойствия перетекла к ней. — А что? Ты что-то хотела?

Она покачала головой, но тут же, будто испугавшись, что я подумаю, будто ей всё равно, торопливо заговорила:

— Нет, дядь Лёш, нет... Просто... Просто я хотела пожелать удачи. И... если можно, обнять на дорожку. — Она опустила взгляд, будто стыдясь своей просьбы, и пальцы её нервно теребили край лёгкой куртки — той самой, которую я когда-то принёс ей с поверхности, ещё целую, без прорех и заплат.

Я чуть наклонил голову, улыбнулся уголком губ.

— Ну ты прям... — начал я, подбирая слова, чтобы не звучать слишком грубо, но и не рассыпаться в нежности, которая сейчас была бы ей только тяжелее. — Будто на год прощаюсь.

— Да тьфу на вас! — тут же вспыхнула она, но в этом всплеске было не раздражение, а попытка отогнать страх. Она даже ладонью махнула, будто отгоняя дурные мысли, и тут же снова стала тихой, собранной. — Ещё не хватало — на год! — добавила она уже мягче, почти шёпотом, и подняла на меня глаза, в которых всё ещё дрожала тревога, но теперь к ней примешалась и решимость.

Не дожидаясь моего ответа, она шагнула вперёд и крепко, но осторожно обняла меня, прижавшись щекой к моей куртке. Я почувствовал, как её плечи чуть вздрагивают — не от холода, а от напряжения, от того, что она столько держала в себе. И в этом объятии было не столько желание утешиться, сколько попытка передать мне всю свою тревогу, все свои невысказанные «пожалуйста, вернись».

— Ты только... — прошептала она мне в куртку, так тихо, что, если бы вокруг не было этого привычного рыночного гама, я бы, наверное, услышал, как бьётся её сердце. — Ты только осторожнее там, ладно? Там ведь всякое бывает... И если можно, не лезь на рожон. Ради Кирухи... И ради меня.

Я положил ладонь ей на спину, чуть крепче прижал к себе, давая понять, что слышу. Что всё понимаю. Что не забуду.

— Ладно, — тихо сказал я. — Обещаю. Буду смотреть в оба.

Она чуть отстранилась, быстро, почти судорожно провела ладонью по глазам — будто смахивала не слёзы, а просто соринку, — и вдруг улыбнулась. Улыбка вышла немного кривой, натянутой, но в ней было столько старания быть сильной, что у меня что-то сжалось в груди.

— Вот и хорошо, — выдохнула она, снова становясь той самой Настёной, которую знали все в Ахтиаре: бойкой, упрямой, не дающей спуска никому. — А то я тут себе уже такое напридумывала... — Она рассмеялась, но смех прозвучал звонко, чуть надтреснуто, как тонкий лёд, который вот-вот треснет. И тут же, не давая мне ничего ответить, быстро чмокнула меня в щёку — так, будто это был не жест прощания, а просто озорная шалость. — Всё, иди! А то опоздаешь, и Антонов опять будет ворчать, что из-за тебя весь план летит к чертям.

И она развернулась и пошла прочь, быстро, почти бегом, ловко лавируя между прилавками и людьми, будто хотела как можно скорее скрыться, пока я не успел заметить, как дрожат её плечи. Через пару шагов она обернулась, только на мгновение — бросила короткий взгляд через плечо, убедилась, что я всё ещё стою и смотрю ей вслед, и снова нырнула в толпу, растворялась среди чужих спин и криков торговцев.

Я постоял ещё секунду, чувствуя на щеке тепло её прикосновения, и медленно поправил рюкзак. Пальцы сами нащупали застёжки, проверили, всё ли на месте — привычный ритуал, который помогал собраться, когда внутри всё ещё дрожало от чужого, но такого близкого страха.

Вспомнив, что ещё нужно найти еду, я снова двинулся вперёд. Немного позже мне всё-таки удалось отыскать нормальную, небитую банку тушёнки и ещё парочку банок консервированной рыбы. Взглянув на часы, я отправился к Восточному portalу: до выхода на поверхность оставалось около сорока минут, а мне ещё предстояло надеть защитный костюм и тщательно его проверить.

Пройдя мимо лестницы, ведущей на второй ярус, я вышел к длинному и несильно освещённому тоннелю, который вёл к Восточному portalу. До места назначения идти было не больше пяти минут. С каждым шагом гул рынка становился тише, растворялся где-то позади, уступая место другой тишине — тяжёлой, предвещающей выход наружу, туда, где воздух был другим, где каждый вдох стоил усилий, а каждый шаг мог стать решающим.

Дойдя до тамбура для очистки ОЗК, я шагнул внутрь — и будто попал в другой мир: здесь даже воздух звучал иначе, глухо и ровно, без рыночного гама и криков. Пахло озоном, старым пластиком и чуть-чуть — металлической пылью. Я взял свой костюм, привычно ощупал швы, будто они могли за ночь расползтись сами по себе, и начал натягивать его, попутно герметизируя стыки скотчем. Движения были отточены до автоматизма: пальцы сами находили нужные места, не тратя ни секунды впустую. Когда всё было готово, я присел на табуретку в углу — такую расшатанную, что казалось, она держится на одной гордости — и стал дожидаться товарищей.

Они не заставили себя долго ждать. Буквально через десять минут в проёме появились эти двое закадычных дружанов. Ещё издали я услышал Валеркин голос — он, ухахатываясь, рассказывал какую-то байку так, будто от этого зависела судьба всего Ахтиара.

— ...и вот он, значит, стоит, весь такой важный, с дозиметром, а дозиметр ему и пищит: «Ты, братец, уже не сталкер, ты — радиация!» — Валерка хохотнул, довольный собственной

шуткой, и тут же заметил меня. — О, Лёха! А мы думали, ты тут уже в костюм врос и стал единым целым с герметизацией! Ну как, не потеешь ещё под всеми этими слоями?

Антонов шёл следом, спокойный, как скала в шторм, и только уголки его губ чуть подрагивали, будто он пытался удержать улыбку, но не хотел, чтобы это выглядело как слабость.

— Не слушай его, — спокойно бросил Антонов, остановившись рядом и окинув мой костюм быстрым, цепким взглядом профессионала. — У тебя всё нормально затянуто? Стык на плече не гуляет?

— Всё по норме, — ответил я, кивнув. — Скотч свежий, швы не дышат.

Валерка театрально закатил глаза.

— Ну вот, опять эта серьёзность... «По норме», «не дышат»... Мы тут, можно сказать, на свидание собираемся, а не в рейд. Может, мне ещё перед Писклей реверанс сделать? Или цветы ей прихватить — вдруг у неё сегодня настроение хорошее?

— Если прихватишь цветы, она их съест, — сухо заметил Антонов. — Вместе с тобой. Так что лучше патроны. Их хоть не жалко.

— Вот спасибо, друг, — пробурчал Валерка, натягивая костюм с видом человека, которого заставляют надевать школьную форму в сорок лет. — А я-то надеялся, что у нас сегодня культурный выход: экскурсия по руинам, фото на память...

— Культурный выход у тебя будет, когда Сергеич выслушает твои байки вместо отчёта, — хмыкнул я, проверяя застёжки. — Так что давай без лирики. Время идёт.

Антонов молча кивнул, достал сигарету и прикурил, прикрывая огонёк ладонью — не от ветра, а скорее по привычке, будто даже здесь, в замкнутом пространстве, нужно было беречь искру. Мы с Валеркой сделали то же самое. Сигаретный дым поплыл по тамбуру, смешиваясь с запахом резины и металла, и на несколько секунд всё замерло: ни шуток, ни подначек, ни ворчания — только тихое потрескивание тлеющей бумаги и наши мысли, уходящие каждая в свою сторону.

Валерка затянулся, выдохнул и вдруг тихо, почти серьёзно сказал:

— Знаете, иногда мне кажется, что мы эти сигареты не курим, а... как бы это сказать... жертвуем. Типа: «Держи, судьба, одну сигарету, только не подкидывай нам сегодня Писклю и засады, ладно?»

Антонов хмыкнул, но в этом звуке не было насмешки — скорее согласие.

— Работает, — коротко бросил он. — Пока что.

Я улыбнулся краем губ. В этой традиции было что-то правильное: не молитва, не заклинание, а просто три человека, которые знают, что впереди может быть плохо, и дают себе минуту тишины, чтобы собраться.

— Ладно, — сказал я, раздавив окурок о край металлической подставки. — Пора.

Валерка вздохнул, будто его лишили последнего удовольствия, и потянулся к противогазу.

— Эх, а я-то думал, посидим ещё, подумаем о вечном... Ну, о том, например, почему в этом мире мутанты есть, а нормальных консервов — нет. Несправедливость какая-то.

Антонов уже надевал свой противогаз, но перед тем, как защёлкнуть крепление, посмотрел на него строго, но без злости:

— Потому что нормальные консервы кончились в первый год. А мутанты размножаются. Так что давай без философии. Нам ещё до бухты дойти надо.

Мы поправили снаряжение, проверили друг у друга крепления, и в этой молчаливой проверке было больше доверия, чем в любых клятвах. Антонов подошёл к гермодвери, взялся за длинную, проржавевшую ручку, и на секунду замер — будто прислушивался к тому, что ждало нас по ту сторону. Потом резко повернул.

Дверь скрипнула, как старая легенда, и в тамбур ворвался ветер — холодный, резкий, пахнувший пылью, металлом и чем-то бесконечно далёким от всех этих бетонных стен

Ведь если задуматься, то каждый рейд — это не просто вылазка, а настоящая схватка с судьбой, где ставка — твоя жизнь и жизни тех, кто тебе дорог. Никто из нас троих не мог наверняка сказать, что ждёт за следующим поворотом, чем закончится очередная вылазка и какая тень притаилась в руинах, готовая разорвать тишину рёвом или выстрелом. Может, засада белобрысого — его люди умеют сливаться с развалинами, будто сами стали частью этого мёртвого города. А может, из темноты вынырнет тварь, для которой человек — всего лишь лёгкая добыча. Даже полный боекомплект, тяжёлый бронежилет и противогаз не давали никакой гарантии: в этом мире смерть подкрадывалась не только с дула автомата, но и из-за угла, из густой тени, из самой тишины, которая вдруг становилась слишком густой, слишком неподвижной.

И всё же мы выходили. Снова и снова. Шли навстречу ветру, который нёс запах гари и чужой крови, навстречу темноте, в которой прятались чудовища, навстречу опасностям этого погибшего мира — будто бросали ему вызов, шаг за шагом стирая подошвы по битому асфальту.

В такие минуты, когда сердце билось где-то в горле, а пальцы чуть крепче сжимали приклад, я всегда возвращался мыслями в свой первый день в Ахтиаре. Перед глазами вставали те самые тёмные тоннели — узкие, сырые, пропахшие плесенью и страхом. Тогда казалось, что сама тьма здесь живая, что она дышит, прислушивается, ждёт, когда ты дрогнешь. Я вспоминал Настю и Кирилла — их детские, до боли испуганные лица, когда мы впервые оказались в этих бетонных катакомбах. В их глазах читался не просто страх, а полное непонимание: как мир мог рухнуть за считанные часы, как улицы, по которым они бегали после школы, превратились в ловушки, где каждый шорох грозил смертью.

Тот момент, когда они доверились мне, врезался в память навсегда. Это было не слово, не клятва — просто Настя тихо взяла меня за рукав, а Кирилл молча прижался к моей спине, будто я был единственной стеной между ними и этим обезумевшим миром. С того дня они стали моей семьёй.

Перед внутренним взором, словно кадры старой, чуть дрожащей плёнки, проносились обрывки их детства: нелепые шалости, смех, который в этих коридорах звучал почти вызывающе, слёзы, когда ломалась какая-нибудь мелочь, казавшаяся теперь бесценной, и улыбки — редкие, но оттого ещё более яркие, как вспышки света в кромешной тьме. Они искренне удивлялись вещам, которые давно стали для остальных просто утилитарными: обычной лампочке, кружке без сколов, пачке соли. Для них это было чудом, осколком прежней жизни, и в их восхищении я вдруг заново учился видеть красоту в мелочах.

Я помнил первую любовь Насти — ту самую, когда она то смеялась, то вдруг начинала плакать без причины, когда капризничала и хлопала дверью, а потом тихо возвращалась и просила прощения. Помнил её истерики и эти отчаянные побеги в тёмные коридоры Ахтиара — будто она хотела спрятаться от самой себя, от взросления, которое навалилось слишком рано. И каждый раз я шёл за ней, находил её в полумраке, садился рядом и просто молчал, пока дрожь не уходила из её плеч.

А ещё я помнил первый дозор Кирюхи на Нулёвке. Тогда я взял его с собой не из жалости и не из снисхождения — мне нужен был напарник, который не подведёт. И в первый же день, когда из темноты поползли Зубастые, он дрогнул. Я видел этот страх в его глазах — острый, почти парализующий. Но потом случилось то, что навсегда изменило мальчишку: когда один из мутантов метнулся ко мне, а я на секунду потерял бдительность, задремав от усталости, Кирилл бросился вперёд с ножом. Не с автоматом, не с гранатой — с простым кухонным ножом, который таскал с собой как талисман. В тот миг в нём проснулась не детская отвага, а настоящая, стальная решимость. Он заслонил меня, не думая о себе, и этот порыв стоил больше любой выучки.

Ради этих воспоминаний, ради каждого драгоценного момента их жизни — даже самого будничного, вроде чашки остывшего чая или тихого разговора перед сном — я шёл до конца. В самые страшные минуты, когда казалось, что выхода нет, я цеплялся за эти образы: за смех Насти, за упрямый взгляд Кирилла, за их доверие. Они были моим якорем, моей причиной возвращаться. И пока они ждали меня в этих бетонных стенах, я не имел права сдаться. Ни перед тварями, ни перед людьми, ни перед самой судьбой.

Луна висела в небе, как тусклый осколок зеркала — неполная, равнодушная, будто и не хотела освещать эту землю. Звёзды горели холодно, ровно, без всякого тепла, словно крошечные ледяные иглы, вонзившиеся в чёрное полотно неба. Они напоминали те самые новогодние огоньки из прошлой жизни — только теперь в их свете не было праздника, лишь горькая память о чём-то навсегда утраченном.

На поверхности стояла гробовая тишина — такая плотная, что казалось, её можно потрогать. Лишь изредка её разрывал ветер: он выл тонко, протяжно, будто оплакивал всё, что здесь когда-то жило и теперь обратилось в руины. Этот вой проникал под кожу, минуя слои защиты, и охлаждал до самых костей.

Холод был не просто морозом — он был осязаемым, вязким, будто сама ночь пропиталась льдом. Он пробирался сквозь швы костюма, находил малейшие щели, касался кожи зябкими пальцами. Даже сквозь плотную ткань чувствовалось, как воздух цепляется за каждую неровность, тянет вниз, заставляет плечи невольно подниматься, будто в попытке укрыться. По телу то и дело пробегали мурашки — не от страха, а от этого безжалостного, всепроникающего холода.

Мы зажгли фонари. Их узкие лучи ударили в темноту, как клинки, но тут же растворились в ней, не в силах разогнать густую тень. Свет выхватывал из мрака куски асфальта, трещины, острые края, обломки прошлого мира — и тут же отступал, оставляя за собой ещё более плотную тьму.

Спуск от Восточного портала к долине был не крутым, но обманчиво спокойным. Асфальт растрескался, пошёл глубокими разломами, и в этих щелях пряталась опасность: шагнешь чуть в сторону — и нога уйдёт в пустоту. Мы ступали тихо, аккуратно, почти не дыша, будто боялись спугнуть саму тишину. Каждое движение было отточено до автоматизма, превращено в ритуал, где нет места спешке и нет права на ошибку.

Впереди шёл Антонов. Его фонарь вычерчивал на земле неровный круг света, и в этом круге всё выглядело особенно хрупким: каждый камешек, каждая трещина казались ловушкой. Антонов всматривался в каждый подозрительный предмет, в каждую тень, будто пытался прочесть в них предупреждение.

За ним шёл я. Мои глаза скользили по сторонам, выхватывая из темноты силуэты руин, обрывки проводов, поваленные столбы — всё, за чем могла прятаться угроза. Но главное внимание я держал над головой: небо было чёрным, бездонным, и в этой черноте могли мелькнуть крылья Пискли. Достаточно было одного резкого движения, одного неверного звука — и она обрывается сверху, как приговор.

Валерка замыкал цепочку. Он прикрывал тыл, и в его молчании чувствовалась привычная бравада, скрывающая напряжение: он не шутил, не отпускал колкостей — сейчас было не до того. Только иногда слышался его тихий, сдержанный выдох, будто он пытался выпустить вместе с воздухом лишнюю тревогу.

По обеим сторонам дороги тянулся густой лес. В темноте его заросли казались сплошной стеной, непроницаемой, живой. Луч фонаря скользил по стволам, цеплялся за ветки, но не мог проникнуть глубже: тьма поглощала свет, не отдавая ничего взамен. В этом лесу водились лисы и зайцы — когда-то обычные, а теперь мутировавшие. Немного, говорили одни. Достаточно, чтобы заяц мог сожрать лису, не моргнув глазом, — добавляли другие. И глаза у них

были странные: слишком большие, слишком блестящие, будто в них отражался не свет, а сама пустота этого мира.

— Полсотни шагов, и мы на основной тропе, — тихо проговорил Антонов, чуть ускорив шаг. Его голос прозвучал непривычно глухо, будто даже слова здесь замерзали, не успев родиться.

Мы двигались вперёд, сливаясь с ночью, становясь её частью. Фонари чертили в темноте тонкие линии, и эти линии были единственной нитью, связывающей нас с реальностью. Всё остальное — тишина, холод, тьма — казалось чужим, враждебным, выжидающим. И в этом ожидании было что-то древнее, безжалостное: будто сама земля затаила дыхание и смотрела на нас из темноты, проверяя, хватит ли нам сил пройти дальше.

— Полсотни шагов, и мы на основной тропе, — коротко бросил Антонов, чуть ускоряя шаг. Его голос звучал ровно, будто он не шёл по враждебной земле, а просто сверял маршрут с картой в голове.

— Ну хоть сегодня без лисят обошлось, — пробурчал Валерка сзади и, не удержавшись, хлопнул меня по плечу так, что костюм скрипнул. — А то в прошлый раз один такой «зайчишка» на меня смотрел, как будто я ему лично жизнь испортил. И знаешь, Лёха, у него даже взгляд был обиженный! Мол, где мои морковка и лужайка? Ну, я ему и говорю: «Браток, тут лужаек не завезли, зато есть радиация — бесплатно!»

— Заткнись, Валерка, — не повышая голоса, оборвал Антонов. Он даже не обернулся — просто сжал фонарь чуть крепче, и этого хватило, чтобы в воздухе повисла тяжесть. — Не на прогулку вышли. Хватит баек. Тут не анекдоты рассказывать надо, а ушами крутить.

— Бу-бу-бу, — тихо передразнил Валерка, но в этот раз без прежней бравады, скорее по привычке. И тут же понизил голос до шёпота: — Ладно-ладно, молчу. Просто от тишины зубы сводит.

Мы подходили к основной тропе. До неё оставалось шагов семь — ровно столько, чтобы успеть сделать глубокий вдох, если бы кто-то из нас посмел. Но никто не дышал полной грудью: воздух тут был не подарком, а проверкой на прочность.

И вдруг я заметил его — тёмный силуэт в небе, чуть впереди и выше, будто вырезанный из самой тьмы. Он двигался плавно, но с той самой хищной неторопливостью, которая хуже любой спешки.

— Тихо! — мой голос прозвучал жёстко, без лишних нот, как щелчок затвора. — Пискля! На двенадцать часов. Ложись. Сейчас.

Антонов среагировал первым — без суеты, без криков, просто упал на землю и распластался, сливаясь с асфальтом, как тень, которая наконец нашла своё место. Валерка последовал за ним, но на долю секунды замешкался, будто мозг ещё пытался найти в этой ситуации повод для шутки.

— Да чтоб тебя... — выдохнул он уже лёжа, уткнувшись в рукав костюма, и тут же затих, будто сам себе приказал: «Молчи. Сейчас нельзя».

Мы прижались к земле, замерли. Даже камни под нами, казалось, перестали быть просто камнями — они стали частью укрытия, частью этой вынужденной неподвижности. Пискля летела в нашу сторону, и её крик разрезал тишину, как ржавое лезвие. Звук был не просто громким — он проникал внутрь, цеплялся за нервы, заставлял тело хотеть вскочить, рвануть прочь, сделать хоть что-то. Но мы лежали. Не шевелились. Даже не моргали.

Шум крыльев становился всё ближе, нарастал, будто сама ночь сжималась вокруг нас, выдавливая воздух. Кровь стыла в жилах, и это был не образ — это было физически: холод пробирался изнутри, сковывал мышцы, заставлял зубы сжиматься до скрипа.

«Хоть бы не почуяла. Хоть бы приняла за обломки. Хоть бы просто пролетела мимо», — крутилось в голове, как заклинившая пластинка.

У нас было оружие. Патроны. Даже граната — на самый крайний случай. Но все эти железки сейчас казались бесполезными, как игрушечные мечи против шторма. Пискля была покрыта твёрдой чешуёй — каждая пластинка перекрывала соседнюю, как черепица на крыше, которую не пробить ни пулей, ни осколком. Единственный шанс, о котором ходили легенды, — закинуть гранату прямо в пасть. Но чтобы это сделать, нужно было подпустить тварь вплотную, дать ей увидеть себя, услышать, почувствовать. Это был не план — это был приговор.

А ещё была история про бывалого сталкера, который якобы провернул этот трюк. Но тот же парень клялся, что видел наездника на восьминогой лошади без средств защиты — так что ему верили ровно наполовину. То есть вообще не верили.

Пискля парила над нами, кружила, будто чувствовала что-то, но не могла ухватить суть. Её крик становился то тише, то снова взвизывался, как будто она дразнила нас, проверяла, сломаемся ли мы, пошевелимся ли, выдадим себя хоть вздохом. Мы лежали неподвижно, даже старались не дышать глубоко — только короткими, почти незаметными вдохами, будто учились быть не людьми, а частью асфальта, частью ночи, частью тишины.

Глава 2

Пискля, мальчик, выстрел

Моё сердце колотилось так, будто пыталось пробить рёбра и сбежать куда-нибудь подальше отсюда. Зависшая над нашими головами тварь даже не думала улетать — но и напасть не могла. Мы для неё сейчас были не людьми, а чем-то неопределённым: то ли кучей мусора на асфальте, то ли частью пейзажа. И это было единственное, что нас спасало.

Пискля издавала звуки, от которых хотелось вывернуть себя наизнанку. Это был не крик и не вой — это было что-то среднее, звук, который забирался в череп, как раскалённая спица, и начинал медленно, методично сверлить мозг. Она будто звала кого-то, выла в темноту, но никто не отзывался. Пока.

Потоки воздуха от её крыльев поднимали опавшую листву, крутили её в медленном, безжалостном танце. Небольшие деревья поблизости гнулись, будто кланяясь, — и в этом было что-то унижительное: природа подчинялась твари, не в силах сопротивляться.

Лежать было невыносимо. Каждая секунда превращалась в пытку: тело затекало, холод пробирался сквозь костюм, а этот звук — этот мерзкий, леденящий, сверлящий звук — не давал ни забыться, ни привыкнуть. Голова раскалывалась, пульсировала, и казалось, ещё немного — и мозг просто потечёт из ушей.

И вдруг Пискля замолчала. На одно короткое, хрупкое мгновение, будто набрала воздух перед прыжком. Боль отхлынула, и я успел сделать глоток настоящего, чистого воздуха — первого за эти бесконечные минуты. Но ненадолго.

Где-то над вершиной горы раздался второй крик. Он был хриплее, тяжелее, будто кто-то провёл ржавым гвоздём по стеклу. Этот звук не просто пронзил тишину — он её разорвал.

Дозвалась-таки.

Вторая тварь повисла над нами, и по одному только голосу стало ясно: она крупнее. Намного крупнее. Её крик вибрировал в грудной клетке, отдавался в зубах, в костях, в каждой клетке тела, которая ещё помнила, что значит быть живой.

Какое-то время они перекликались — поочерёдно, будто вели разговор, который мы не могли понять. Одна пищала, вторая вопля, и в этом хаосе звуков было что-то жуткое, почти разумное: будто не звери перекликались, а два охотника договаривались о плане.

Потом одна из них сделала мощный взмах крыльями, оттолкнулась от воздуха и рванула вверх. Поток ударил нас в спины с такой силой, что я впечатался в асфальт, будто меня придавила бетонная плита. Рёбра застонали, лёгкие сжались, и на секунду показалось, что кости сейчас просто хрустнут, как сухие ветки.

Вторая проделала то же самое. Новый удар — ещё мощнее, ещё безжалостнее. Воздух вышиб из лёгких остатки дыхания, и я почувствовал, как из носа потекла тонкая, тёплая струйка. Кровь. Просто кровь. Ничего страшного, если не думать о том, что следующий удар может стать последним.

Валерка лежал рядом, уткнувшись лицом в рукав костюма. Даже он молчал — и это было, пожалуй, самым тревожным сигналом из всех. Когда Валерка молчит, значит, дело действительно плохо.

Какофония воплей не стихала, а нарастала, слой за слоем накладываясь на собственное эхо, пока не превратилась в сплошную, непрерывную стену звука. Хотелось вскочить, выхватить автомат и стрелять, стрелять, стрелять — неважно куда, лишь бы заглушить этот звук, лишь бы он прекратился. Или вскочить и бежать — бежать куда-то в тишину, туда, где нет этого воя, где воздух не режет лёгкие, а мозг не плавится от вибраций.

Но я держался. Стиснул зубы, вцепился в землю пальцами и повторял себе, как заклинание: «Не двигайся. Не дыши. Не будь».

И тогда Антонов принял решение.

Он не крикнул, не подал сигнала — просто встал и бросился в чащу леса одним стремительным, точным рывком, будто всё это время не лежал, а был готов к прыжку. Валерка рванул следом, почти без заминки, будто только и ждал этого мгновения.

Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ними.

Реакция тварей была мгновенной. Они бросились за нами — с воплями, с рёвом, с таким яростным возбуждением, от которого стыла кровь. Но лес был нашим единственным союзником: деревья не давали писклям приблизиться, мешали крыльям, путали траекторию. Твари были огромны, мы — малы, и в этом было наше спасение.

Я бежал, и перед глазами мелькало всё: ветки, стволы, тёмные спины товарищей. Антонов двигался впереди — ровно, экономно, как будто заранее знал каждый поворот, каждый корень, каждую яму. Валерка бежал за ним, и в его движениях было что-то почти звериное: неуклюжее, но мощное, как будто он не бежал, а летел, отталкиваясь от земли всем телом.

Он споткнулся. Упал. Покатился кубарем по склону, кувыряясь через корни и палую листву, и я на секунду увидел его лицо за панорамным стеклом противогаза — мокрое от пота, с безумной, почти счастливой ухмылкой. Он вскочил, будто и не падал, и снова понёсся вперёд, не оборачиваясь.

— Деревья, Лёха! Деревья — наши друзья! — крикнул он мне через плечо, задыхаясь. — Хорошо, что они не научились летать! А то бы совсем... — договорить он не успел: ветка хлестнула его по лицу, и он только хрюкнул, но не сбавил шаг.

Оглядываться хотелось до одури. Но нельзя. Оглянешься — споткнёшься. Споткнёшься — тварь схватит. Тварь схватит — и всё, ты не человек, а обед.

— За мной! Сюда! — вдруг выкрикнул Антонов.

Его голос прорезал грохот погони, как выстрел. Он резко свернул с тропы и начал спускаться с горы, в ту сторону, где лежала старая асфальтированная дорога.

Куда!? — крикнул я, чувствуя, как лёгкие горят. — Там негде спрятаться! Антонов, стой!

— За мной, я сказал! Бегом!

И в его голосе не было паники. Не было сомнения. Была только та самая сжатая, железная уверенность, которая появлялась у него в самые скверные моменты, и я знал: если Антонов говорит «бегом», значит, у него есть план. Даже если этот план похож на самоубийство.

Новый удар воздуха в спину. Деревья затрещали, ветви полетели вокруг, как щепки. Пискля была уже совсем рядом — я чувствовал её, физически ощущал, как воздух за спиной сгущается, тяжелеет, становится плотным от её присутствия. Ещё секунда — и лапы сомкнутся на моих плечах, и последнее, что я увижу, — чёрное небо сквозь перепонки крыльев.

Я рванул в сторону, следом за Антоновым и Валеркой. До старой дороги оставалось совсем немного.

Твари явно разъярились. Они больше не пытались манёврировать — они просто хватали деревья и вырывали их с корнем, как ребёнок вырывает траву, когда злится. За спиной раздавался треск, хруст, глухие удары падающих стволов. Земля дрожала, и этот гул приближался, будто за нами шёл сам лес, вырванный с корнем и брошенный на землю.

Сквозь заросли стал виднеться асфальт. Антонов резко остановился, обернулся, проверив, все ли на месте, — и снова побежал, но уже свернув вдоль дороги, не выходя из леса. Я бросился за ним, но не успел сделать и трёх шагов, как перед моими глазами, буквально в полуметре, с оглушительным грохотом рухнул огромный пенёк, вырванный с корнями, увитыми землёй и камнями. Комья грязи брызнули во все стороны, и я едва успел откатиться, прикрыв голову руками.

— Да они что, самолётами заделались и нас бомбят?! — заорал откуда-то справа Валерка, и в его голосе, несмотря на весь ужас ситуации, звучало что-то вроде восхищения. — Хитрые твари! Ладно, в рукопашную — так нет, теперь ещё и ковровыми бомбардировками!

Как он умудрялся шутить, когда над головой летали твари размером с грузовик, вырывающие деревья с корнем, — оставалось загадкой. Может, это был его способ не сойти с ума. Или просто Валерка был Валеркой при любых обстоятельствах.

Антонов резко остановился.

— Стойте! — выкрикнул он. — Замрите! Обе!

Я и Валерка застыли на месте, тяжело дыша, и подняли головы вверх. Обе пискли парили высоко в небе, почти сливаясь с темнотой, и перестали вырывать деревья. Их крики сделались тише, отстранённое, будто внимание переключилось на что-то другое.

— Чего это они? — спросил Валерка, вытирая кровь с лица рукавом. — Передохнуть решили? Перекур устроили?

— Новую жертву увидели, — тихо проговорил Антонов, не отрывая взгляда от неба. — Вон там, за дорогой, виноградники начинаются. Улитки.

— О-о-о! — Валерка рассмеялся, и в этом смехе было столько облегчения, что он звучал почти истерически. — Не по зубам мы им оказались! Шустрые чересчур! Вот что бывает, когда не кормишь зверушку вовремя: она злится, вырывает деревья, а потом уходит к улиткам! Классика!

— Хватит ржать, — жёстко оборвал его Антонов, но без злости, скорее с той привычной строгостью, которая говорила: «Я рад, что ты жив, но сейчас не время». — Двигаться надо. С улитками быстро справятся и за нами вернутся. Ходу.

И он пошёл первым, не оглядываясь, будто не было ни погони, ни ударов воздуха, ни вырванных деревьев. Просто шёл, и в его спине читалась та самая несокрушимость, ради которой за ним шли другие.

Валерка бросил на меня короткий взгляд, ухмыльнулся и тихо сказал:

— Знаешь, Лёха, если бы Антонов не был сталкером, из него вышел бы отличный инструктор по бегу с препятствиями. «Бегите от летающей твари! Прыгайте через вырванные деревья! Уворачивайтесь от падающих пней! И не забудьте улыбаться — это для фото на пропуск в рай!»

Я только покачал головой, не сдержав кривую усмешку, и поправил амуницию, растрёпанную после нашего спринта по лесу. Проверил автомат, магазин, фильтр противогаза — всё на месте, всё цело. Маленькие победы, из которых складывалось выживание.

Мы выдвинулись в путь, продолжая идти вдоль дороги через лес. Шаги были тихими, размеренными, но в каждом из них ещё жила дрожь только что пережитого: адреналин медленно отступал, оставляя после себя пустоту и свинцовую усталость в ногах.

Приближалась ночь. К утру нужно было добраться до Штурмового. И мы шли, потому что идти было всё, что нам оставалось.

Выходя в рейд ночью, мы рассчитывали на привычную логику этого враждебного мира: днём — охотятся пискли, ночью — они спят. А улитки, наоборот, выползают на виноградные поля в темноте, шуршат по сухой листве, скребут панцирями по земле, и самый простой способ не нарваться на них — просто не заходить на поле, обойти стороной. Но пискля... две пискли... ночью... Это ломало все правила, выданные из жизни ценой чужих ошибок. И оттого становилось ещё страшнее: если мир перестал следовать своим законам, значит, ни один ориентир больше не надёжен.

Мы двигались молча, экономя не только силы, но и звуки. Если требовалось что-то обсудить, подавали условный знак, останавливались, прижимались спинами к деревьям и переговаривались почти шёпотом — так, чтобы слова не летели дальше вытянутой руки, не растворялись в темноте, не становились приманкой.

Через какое-то время лес расступился, и перед нами открылся край виноградника. Ряды лоз тянулись вдаль, изогнутые, сухие, похожие на рёбра какого-то древнего зверя, давно погибшего, но всё ещё внушающего страх. Тени лежали между рядами, густые и непроглядные, и в них могло прятаться всё что угодно.

— Какой стороной обходить будем? — спросил я, не повышая голоса, и сам удивился, каким сухим и чужим он прозвучал в этой тишине.

Антонов замер, вглядываясь в темноту, будто пытался прочесть в ней не просто путь, а судьбу этого пути. Потом тихо, без лишних слов, ответил:

— Идём направо. Там раньше дорога к Штурмовому шла. Виноградник обойдём, заодно и по твёрдому пойдём. Мне сегодня улиток видеть не хочется.

Он снял с пояса флягу, чуть приподнял противогаз, сделал короткий, сдержанный глоток и снова опустил маску на место. Движение было привычным, отработанным — будто он не пил воду, а проверял, всё ли на месте, всё ли держится.

— Хорошо, а дальше? — тихо уточнил Валерка, и в его голосе не было привычной бравады, только настороженность, которую он не мог скрыть. — Там же в этом Штурмовом нечисти развелось... пруд пруди, говорят.

Антонов покосился на него — не зло, а устало, как смотрят на человека, который снова и снова наступает на одни и те же грабли.

— Никого там нет, Валерка, — прошептал он ровно, без нажима, но так, что спорить не хотелось. — Если бы там кто-то был, мы бы уже знали. По следам, по звукам, по запаху. Мир не умеет хранить такие секреты.

— Откуда тебе знать? — не унимался Валерка. — Вон Савельев рассказывал, в рейд они когда ходили...

— Хватит, — оборвал его Антонов, и в этом «хватит» не было раздражения, а была тяжесть, которую он нёс на себе и не хотел передавать дальше. — Не надо историй. Придём — увидим. А пока будем идти так, будто нас здесь нет.

Мы постояли ещё минуту, давая тишине проверить нас, убедиться, что мы не нарушили её покой. Потом двинулись дальше — осторожно, шаг за шагом, будто каждый следующий метр нужно было заслужить.

Открытая местность ждала впереди, безжалостная и слепая: ни деревьев, чтобы спрятаться, ни теней, чтобы укрыться. Только небо, земля и всё, что могло ползать, летать, красться между ними. Нужно было пройти её так, чтобы не выдать себя ни звуком, ни движением, ни даже дыханием.

На часах было без пяти минут десять. До утра ещё долго. Слишком долго, чтобы чувствовать себя в безопасности, и слишком мало, чтобы позволить себе ошибиться.

Когда я в следующий раз бросил взгляд на часы, они тускло высветили: 04:43. До рассвета оставалось ещё как минимум три часа — долгих, вязких, наполненных ожиданием того, что вот-вот вылезет из темноты. А идти предстояло ещё прилично: впереди, будто рёбра давно погибшего зверя, высились скелеты разрушенных пятиэтажек. Их пустые оконные проёмы смотрели на нас чёрными, бездонными глазами, и в одном из них, на третьем этаже, мерцал едва заметный огонёк — крошечный, дрожащий, словно чья-то отчаянная надежда.

Антонов поднял сжатый кулак — знак остановиться. Мы присели за проржавевшим остовом брошенного трактора. Металл давно сдался времени: он покрылся рыжей коркой, будто запёкшейся кровью, и даже в темноте от него тянуло сыростью и ржавчиной. Здесь, прижавшись к холодному железу, мы на мгновение почувствовали себя чуть защищённее — хотя бы от ветра.

— И что это ещё за новости? — не выдержал Валерка. Его шёпот прозвучал громче, чем ему хотелось, и он тут же виновато втянул голову в плечи, будто ждал, что на звук выскочит что-то с когтями. — Может, это сигнальный маячок? Или кто-то там азбукой Морзе стучит: «Спасите, я застрял между этажами и ем последнюю тушёнку!»

Антонов покосился на него, но в его взгляде не было злости.

— Откуда мне знать, — тихо, почти сквозь зубы, прошептал он. — Аборигены какие-нибудь. Или просто кто-то не хочет сидеть в темноте.

— Проверять будем? — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, а не как вопрос, который хочется забрать обратно.

— Думаю, нет, — Антонов чуть наклонил голову, вглядываясь в темноту, будто пытался разглядеть не просто огонёк, а всё, что пряталось за ним. — Видишь впереди указатель?

Я всмотрелся в серую мглу. Метрах в тридцати от нас из темноты проступал ржаво-синий прямоугольник. На нём, едва читаемые, белели буквы: «Сахарная Головка 5», а под ними — «пос. Октябрьский 8».

— Вижу, — выдохнул я.

— Дальше-то что делать будем? — снова заговорил я, чувствуя, как внутри всё сжимается от мысли, что придётся принимать решение. — Через Сахарку пойдём? Так тогда мы как раз на этот огонёк и выйдем, Антонов!

— Не дрейфь, — коротко бросил Антонов, и в этом «не дрейфь» было не пренебрежение, а попытка удержать нас всех на плаву. — Пройдём. И к тому же не обязательно, что там опасность. Может, жители городка так спасаются: забрались повыше, сидят тихо, как мыши, и боятся лишний раз чихнуть.

— Ага, и костерок развели, чтобы твари разные в гости заходили, — буркнул Валерка, но уже не с прежней бравадой, а скорее чтобы прогнать липкий холодок страха, который подбирался к горлу. — Мол, заходите, дорогие, у нас тут тёплый приём и нервы на исходе!

Антонов едва заметно усмехнулся — так, что это почти не было заметно, но я увидел.

— Это точно, Валер, ты прав, — тихо согласился он. — Тогда у нас нет другого варианта, кроме как обойти и не лезть туда. Меньше знаем — крепче спим. Всё, ходу.

Мы поднялись с земли, стараясь не скрипеть суставами, не звякнуть металлом, не выдать себя даже шорохом. Двигались на полусогнутых, прижимаясь к остаткам прошлого мира — к стенам, к обломкам, к любой тени, которая могла нас спрятать.

Впереди лежал городок с этим странным, почти детским названием — Сахарная Головка. До него, если верить указателю, было ещё пять километров. Пять километров по открытой местности, где каждый шаг отдаётся в груди, а тишина кажется слишком громкой.

Утро было не за горами. И вместе с ним просыпался этот враждебный мир: скоро на охоту могли выйти пискли, или ещё какая-нибудь тварь, у которой нет имени, но есть когти и голод. Нам нужно было добраться до Сахарки как можно быстрее и укрыться в ближайшем доме, в

любом строении, хоть в полуразрушенном подъезде, хоть в подвале — в любом месте, где над головой будет крыша, а вокруг — стены. Пусть даже они будут держаться на одной гордости.

— Лёха, смотри, — позвал меня Антонов тихо, но с той особенной сдержанностью, с какой сообщают о чём-то неприятном, но давно ожидаемом. Я подошёл, присел рядом и проследил за его взглядом.

Метрах в сорока, на склоне, залитом мутным предрассветным светом, две фигуры склонились над третьей. Сначала я не понял, что вижу — просто тёмные силуэты, грязные, неуклюжие, будто кто-то слепил их из гудрона и забыл придать форму. Они двигались рывками, жадно, методично, и только когда один из них поднял голову, я разглядел: череп, обтянутый чёрной, блестящей кожей, проваленные глазницы, пасть, из которой капало что-то густое и тёмное. Они ели. Ели с той сосредоточенной, животной основательностью, от которой спина холодеет, а ноги становятся ватными.

— Это ещё кто такие? — спросил я, и голос мой прозвучал так, будто кто-то другой говорил моими губами.

— Мазутники, — Антонов даже не вздрогнул. Произнёс это слово так, как произносят название знакомой улицы: без удивления, без ужаса, с той спокойной деловитостью, которая бывает у людей, повидавших достаточно, чтобы перестать удивляться. — Да, точно, они. Видишь — чёрные, и блеском отдают? Как свежая битумная лужа.

Я кивнул. Твари действительно блестели — не мокрым, жирным блеском, а каким-то неестественным, индустриальным, будто их тела были покрыты не кожей, а слоем мазута, который никогда не высыхал.

— Не бойся, можешь говорить, — Антонов чуть повернул голову в мою сторону, но глаз с тварей не свёл. — Они глухие. Обоняния нет. Совсем. Носом не чуют, ушами не слышат — даром, что уши здоровые, как локаторы. Но зрение... Вот зрение у них — это да. Видят далеко, чётко, и если попадёшь в их поле зрения — всё, ты не человек, ты обед. Хорошо, что мы со спины к ним вышли.

Он говорил ровно, без пауз, без лишних слов — так говорят о чём-то привычном, о чём-то, что уже стало частью жизни, хотя никогда не должно было ею стать. Будто не в первый раз видел, как мазутники жрут своего, и не в последний, скорее всего.

— А жрут-то кого? — спросил я, не в силах оторвать взгляд от этого зрелища.

— Своего и жрут, — ответил за Антонова Валерка. Он лежал рядом, подперев голову рукой, и смотрел на происходящее с выражением человека, которому подали в ресторане испорченное блюдо. — Сегодня, видать, охота не задалась. Ну и завалили самого слабого. Эдакий мазутничий корпоратив: «Товарищи, в связи с тяжёлой экономической ситуацией обедаем сегодня в формате buffet, и главное блюдо — наш коллега Валера из отдела продаж».

Я тяжело сглотнул. Ком подкатил к горлу, и я не сразу смог его протолкнуть. Потому что это было мерзко — не просто мерзко, а той особенной, вьёвшейся, всепоглощающей мерзостью, от которой не спасает ни опыт, ни привычка. Я, сталкер, прошедший через десятки рейдов, видевший вещи, от которых нормальному человеку стало бы плохо на всю жизнь, стоял и смотрел, как два существа, ещё недавно, может быть, ходившие на двух ногах и носившие имена, пожирали третьего — такого же, как они, — и не чувствовали ничего. Ни вины, ни голода в человеческом смысле, ни жалости. Просто ели.

И в голову полезло то, что не должно лезть в рейде: мысли. Мысли о том, что люди просрали целый мир. Не твари, не радиация, не природа — люди. Сами. Разрушив всё живое и неживое, оставив после себя жалкую кучку себе подобных, они устроили на Земле плацдарм для вот таких существ, которые просто жрали друг друга. А ведь могло всё быть иначе.

— Лёха, чего задумался? Уходим, — Антонов тронул меня за плечо. Не резко, без суеты — просто вернул в реальность привычным, твёрдым прикосновением.

Я моргнул, выдохнул и двинулся следом.

Мы обошли мазутников быстро и аккуратно, держась наветренной стороны, хотя Антонов и сказал, что обоняния у них нет — на всякий случай, потому что «на всякий случай» в этом мире стоило дороже любых правил. Через некоторое время из предрассветной мглы проступила табличка: «Сахарная Головка». Буквы были тусклые, потрескавшиеся, но ещё читаемые, будто сама земля не хотела забывать название, которое кто-то когда-то дал этому месту с надеждой на сладкую жизнь.

Светало.

Небо из чёрного стало тёмно-синим, потом серым, будто кто-то медленно, слой за слоем, снимал с него темноту. Мы шли по узкой улочке, по сторонам которой стояли небольшие одноэтажные домики, а среди них изредка встречались настоящие коттеджи, напоминавшие маленькие дворцы с облупленными фасадами и пустыми окнами. Улица была пуста. Ни одного живого существа, ни одного лишнего звука, кроме ветра, который гулял между домами и гнал по асфальту клочки мусора, будто это были остатки чьего-то письма, которое никто уже не прочтёт.

В выбитых окнах чернела темнота — густая, тягучая, почти осязаемая. Стоило заглянуть туда, и казалось, что внутрьходишь и больше не выходишь: она не просто прятала то, что осталось за ней, а затягивала, держала, не отпускала. Заваленные каменные и металлические заборы давно перестали ограждать чьи-то приусадебные участки — теперь они ограждали только пустоту.

Чуть дальше, возле одного из домов, мы увидели остов брошенной машины — прогнивший, покосившийся на одну сторону, будто он устал стоять и решил прилечь. Внутри, на переднем пассажирском кресле, сидел скелет человека в лохмотьях. Череп чуть наклонён, будто его хозяин задремал и так и не проснулся, а лохмотья одежды держались на костях только из упрямства.

— Да быть не может, чтобы он тут двадцать лет просидел! — возмутился Валерка, наклонившись к окну. — Тут даже тумбочки из IKEA двадцать лет не выдерживают, не то что скелеты! Мазутники или ещё кто давным-давно утащил бы. Вместе с креслом и магнитолой.

— Это и так понятно, — спокойно прокомментировал Антонов, не сбавляя шага. — Залётные или местные удрать хотели, да не смогли по какой-то причине. Бросили машину, а его — некуда было тащить. Или некому. Бывает.

— «Бывает», — передразнил Валерка, но тихо, без обычной бравады. Он постоял ещё секунду, глядя на скелет, потом отвернулся и догнал нас. — Ладно, хоть кресло удобное. Человек и после смерти в комфорте.

— Жуткий городок, — тихо произнёс я, осматривая другие дома. Их пустые окна смотрели на нас, как сотни немых свидетелей, знающих что-то, чего мы не узнаем никогда. — Неужели они все от радиации вымерли тут?

— Вряд ли, Лёха, — Антонов чуть обернулся, но шёл не останавливаясь. — Точно знаю, что человек пятьдесят в Ахтиаре живёт, а остальные... В Шампаны, видимо, перебрались. А может, и от радиации... Ну, того.

Он не договорил. В его голосе не было ни жалости, ни горечи, только констатация факта, от которой почему-то было тяжелее, чем от любого надрыва.

Вскоре мы вышли на перекрёсток. Посреди дороги, словно попавшие в аварию и брошенные хозяевами, стояли множество ржавых и сгнивших машин — одна на другую, бампер в бампер, будто в последний момент все пытались уехать и не смогли. Мусор, битое стекло, обломки мебели — всё это было свалено в одну кучу, и над ней кружила стая огромных чёрных ворон. Они то опускались, то снова взлетали, и в их хриплых криках было что-то похожее на спор: кто-то доказывал что-то, а кто-то не соглашался. Жизнь, пусть и в таком виде, продолжалась.

Уходящая вправо дорога вела к тем самым пятиэтажкам, в окне которых мы видели огонёк. Налево лежал путь к Штурмовому.

Мы свернули налево

Дорога к Штурмовому тянулась вперёд, будто сама не верила, что куда-то ведёт. По обеим сторонам — всё те же пустые дома, брошенные машины, горы мусора, сваленные в бесформенные холмы. И ни души. Ни единого шороха, ни следа, ни намёка на жизнь. Городок был мёртв — настолько мёртв, что тишина здесь звучала громче любого крика.

А ведь по всем законам этого нового, искалеченного мира мы должны были встретить тут хоть кого-то: пару злобных тварей, мутировавших лисиц, хотя бы свору одичавших собак. Но нет. Никого. И от этого становилось не спокойнее, а наоборот — тревожнее. Будто сама пустота была здесь не случайной, а нарочитой, как затишье перед ударом. Кто знает, может, это и было счастье... а может, предупреждение: в городе живёт нечто настолько ужасное, что даже мазутники обходят его стороной. Загадка. И мы шли по ней, как по минному полю, стараясь не наступать на тишину.

Я шёл впереди, будто сам невольно взял на себя роль ведущего — не потому что был главным, а потому что именно мне сейчас хотелось говорить, заполнять эту давящую пустоту хоть какими-то словами. По дороге я не переставал смотреть по сторонам, разглядывая дома, в которых когда-то жили люди. Они заботились о них: разводили цветники, сажали сады, делали пристройки, чинили крыши. Вечерами собирались семьями, ужинали, делились новостями, спорили, смеялись, строили планы. А теперь эти дома стояли брошенными, наполовину разрушенными, никому не нужными. Их жильцами стали крысы да мазутники, шарящие по углам в поисках чего-то, что можно сожрать или утащить. И эта перемена была страшнее любой твари: не разрушение убило город, а забвение.

— Лёха! — позвал меня Антонов. Голос его прозвучал тихо, но твёрдо, как всегда, когда он хотел, чтобы слова не улетели в пустоту, а дошли до адресата. — Как думаешь, что всё-таки наши услышали там, когда сигнал поймали? Да и откуда он мог прилететь?

Я подошёл ближе, остановился рядом, всмотрелся в его лицо, будто в нём мог найти ответ, которого не было в эфире.

— Понятия не имею, дружище, — ответил я, пожав плечами. — Но кажется, не сильно издалека. В рацию, тем более в такую древнюю, как наша... Думаю, пару, может чуть больше километров от места приёма. Из Голландии, например.

— Из Голландии? — переспросил Валерка, будто я только что назвал координаты на Луне.

— Да, из Голландии, — спокойно повторил я. — Универ там был раньше. Учился в нём...

— Так ты у нас профессор? — тут же перебил меня Валерка и фыркнул, будто услышал самую смешную шутку за последние пять лет.

— Да какой там! — я улыбнулся, и эта улыбка вышла немного грустной, но настоящей. — Отучился всего два года, да забросил потом. А через год война случилась. Вот и весь профессор.

— Хорошо, а ты хорошо помнишь местность в универе своём? — снова заговорил Антонов, не обращая внимания на Валеркину шутку. Для него сейчас было важно не смеяться, а понимать, куда мы идём.

— Да отчего ж не помнить? — ответил я. — Как свои пять пальцев... Только это... — я на секунду запнулся, собираясь с мыслями.

— Что такое ещё? — тут же подхватил Валерка. — Только не говори, что ты зачётку дома забыл! — и он снова хохотнул, но смех его прозвучал не зло, а как попытка стряхнуть с себя тяжесть этого мёртвого города.

— Да нет! — я снова улыбнулся, уже чуть шире. — Чтоб в «Галошу» попасть, через склады ГСМ топтать придётся, как раз сразу после «Миру — Мир», а там, я так думаю, тварей развелось...

— Вполне вероятно, — спокойно кивнул Антонов. — Может, одна из них и шугнула тогда наших.

— В «Галоше» тоже могут лазить всякие... — продолжил я. — Универ прямо на берегу бухты располагался, и выход из воды удобный был. А как мы помним из рассказов Сергеевича, морские твари уж очень полюбили на сушу выходить погулять, а некоторые и вовсе к поверхностной жизни адаптировались. Место-то шикарное. Огромное здание университета послужит прекрасным местом для жизни, а старинный подземный городок, который я уже и не помню, откуда там взялся, тем более всем гнёздам гнездо. Бродили мы там как-то с однокурсниками, заблудиться можно. И темень... До сих пор мурашки по коже, если вспомнить.

— А вдруг там выжившие есть? — перебил Антонов, и в его голосе прозвучало не столько предположение, сколько надежда, которую он старался не показывать, но не мог спрятать.

— Может быть... — я кивнул. — Они и могли тот сигнал послать. Под зданием универа этаж был, глубоко. А может, два — я точно не знаю. Легенды всякие ходили. Говорили, что там даже подводная лодка стоит. Вот как...

Пока я рассказывал, мы и не заметили, как вышли за пределы Сахарки. Теперь по обе стороны дороги лежало голое чёрное поле — будто кто-то выжег здесь всё до основания и не дал земле шанса на восстановление. Справа, вдалеке, виднелась бело-серая скала, а под ней — выжженные остатки леса, похожие на чёрные кости, торчащие из земли. Ещё дальше, напротив белой скалы, была другая — она выглядела так, будто её взорвали изнутри: по сторонам лежали огромные каменные глыбы, которые даже с такого расстояния казались гигантскими, словно осколки какого-то древнего, забытого мира.

— Вон они, — тихо проговорил Антонов, указывая пальцем на разрушенную скалу. — Шампаны.

— И как там люди могут жить? — уточнил Валерка, и в этот раз в его голосе не было сарказма, только искреннее недоумение. — Ты сам говорил...

— Внутри, — проговорил я. — Эти штольни ещё с Великой Отечественной в таком виде. Уже девяносто лет... Мне больше интересно, как они не шандарахнули ещё тогда, двадцать лет назад? Там ведь оружия было... Ну, чтоб не соврать, весь Севастополь, Инкерман, Сахарку и Северную сторону с землёй бы сровняло. Со всего Союза свозили для обороны, а потом сами же и подорвали, да похоронили заживо тысячи людей. Чтоб немцам не досталось. Вот как.

На минуту мы замолчали. Тишина легла на плечи тяжёлым плащом, и никто не хотел её нарушать. Но Валерка не мог долго молчать.

— Всё же мне непонятно, как тогда там люди живут? — снова заговорил он, будто пытался вернуть себе привычную лёгкость. — Это ж как на пороховой бочке жить. Каждый день просыпаешься и думаешь: «А сегодня рванет или завтра?»

— Ну, видно, приспособились, — коротко ответил Антонов, и в этом «приспособились» было столько усталости, что слова не требовали продолжения.

— Ребят, смотрите! — вдруг перебил я, вытянув руку вперёд. — Штурмовое!

И там, на горизонте, среди серых руин и чёрных полей, проступали очертания посёлка — не величественные, не красивые, а просто живые. Дома, пусть и покосившиеся, пусть и с выбитыми окнами, но стоявшие. Стены, пусть и покрытые копотью, но державшиеся. И в этом было главное: они стояли. А значит, и мы могли.

Перед нами выросли первые пятиэтажки Штурмового. Как и на Сахарной Головке, по улицам стояла тишина — но здесь она была другой: не пустой, а набитой, будто за каждым окном, за каждой стеной что-то пряталось и ждало. Вой ветра звучал глуше, словно даже воздух не решался шуметь в этом месте. Мы двигались осторожно, медленно, осматривая каждый

сантиметр пространства, каждый угол, каждую тень, будто вычитывали текст, написанный на языке, которого не понимали.

Многэтажный дом, мимо которого мы проходили, дышал страхом. Серые стены были исписаны надписями — кривыми, торопливыми, будто их выводили в панике: «Не лезь, там смерть», «Тут ты умрёшь!» Буквы ползли вверх, расширялись, сжимались, будто кто-то писал их дрожащей рукой, одновременно крича и шепча. В выбитых чёрных окнах трепались погнившие занавески, и остатки разбитых стёкол в оконных рамах напоминали пасти — раскрытые, застывшие в беззвучном крике, будто дома сами стали трупами, и каждый оконный проём был их последним, невысказанным словом.

Пожухлая, чёрно-жёлтая трава полностью укрыла бывшую детскую площадку. Там, где трава была выжжена — будто кто-то провёл по земле раскалённым железом, — виднелись останки качелей: ржавые дуги, согнувшиеся под тяжестью времени, цепи, давно переставшие качаться, но всё ещё ждущие, когда кто-нибудь вернётся и толкнёт их.

В паре метров от площадки я заметил маленький детский велосипед — почти сгнивший, развалившийся на части, будто он попытался уползти и не хватило сил. А рядом... Очень странно. Рядом с ним лежала маленькая детская шапочка. Розовая. Почти как новая. Словно кто-то снял её только что, секунду назад, и просто ушёл. И в этой новизне, в этой яркости среди гнили и руин было что-то настолько неправильное, что внутри что-то дрогнуло.

Сделав ещё пару шагов вперёд и заглянув за угол бывшего ларька, я увидел ребёнка.

Дыхание спёрло.

Маленький мальчик, сидящий ко мне спиной, в шортиках, футболочке и сандаликах, спокойно и безмятежно играл с плюшевым зайцем. Он сидел на корточках, присев на пятки, и покачивал зайца из стороны в сторону, будто укачивал его. И в этом не было ничего страшного. Вот именно — ничего. И от этого было страшнее всего. Потому что в мире, где всё умерло, где всё гнило и рушилось, ребёнок, играющий с игрушкой, был не чудом, а аномалией. Нарушением правил, от которого хотелось бежать.

Мне захотелось протереть глаза. Я моргнул, моргнул ещё раз. Он был всё там же. Спиной ко мне, маленький, безмятежный, будто время над ним не имело власти.

Медленными шагами я стал приближаться, вцепившись в автомат так, что побелели костяшки пальцев. Шаг за шагом, обходя ребёнка по дуге, стараясь не наступать на мусор, не скрипнуть, не выдать себя. Но мальчик двигался тоже — слегка, почти незаметно, будто перетекал из одного положения в другое, и каждый раз так, что лицо его оставалось скрытым. Будто он знал, что я пытаюсь заглянуть ему в глаза, и не давал. Как будто игра велась по его правилам, и я в ней был не игроком, а игрушкой.

К горлу подступил ком. На секунду я остановился, оглянулся назад, ища глазами Антонова и Валерку, — и мир вокруг исчез.

За мной, со всех сторон, откуда ни возмись, поднялась бело-серая пелена тумана. Она не наплыла, не подкралась — она просто была, будто всегда была здесь, просто я не замечал. Густая, плотная, она проглотила всё: дома, дорогу, небо. Товарищей не было видно. Их голоса исчезли, будто туман не просто скрыл их, а стёр, вычеркнул из реальности, оставив меня одного.

Я снова посмотрел на ребёнка.

Тот уселся перед своим зайцем, посадил его на землю и стал что-то рассказывать. Но слова, которые он произносил, были не словами. Это был скрип старой двери, расслоённый на сотни оттенков, перемежаемый сухим, лающим звуком, похожим на собачий, но длиннее, выше, будто кто-то тянул за ноту, пока она не начинала рваться. Звуки складывались в ритм, в мелодию, в нечто, что почти имело смысл, но каждый раз, когда я думал, что сейчас пойму,

— смысл рассыпался, как пепел, и оставался только этот скрип, этот лай, это мерзкое, липкое ощущение, что ребёнок говорит со мной, но на языке, который я когда-то знал и забыл.

По спине побежали мурашки. Не от холода — от чего-то другого, чего-то, для чего в языке не было слова. Будто реальность вокруг меня начала истончаться, и сквозь неё проступало что-то другое, то, чему не было места в нормальном мире.

Через пару секунд мальчик поднялся, подобрал зайца и медленными, детскими шагами направился к туману. Каждый его шаг звучал громче, чем должен был, будто земля отзывалась на его прикосновение не звуком, а вибрацией, которая шла от подошв вверх, через воздух, в мои кости. Он скрылся в пелене, и туман сомкнулся за ним, будто вода.

Первое, что пришло в голову, — следовать за ним.

Я не думал. Не взвешивал. Не спрашивал себя, зачем. Просто сдвинулся с места, держа оружие на изготовке, крепко схватившись за цевьё, не убирая пальца с крючка, и вошёл в туман.

Вокруг наступила мёртвая тишина. Не тишина без звука — тишина, которая сама была звуком: низким, ровным, давящим гулом, будто я стоял внутри огромного пустого колокола, по которому только что ударили и звук ещё не затих, а замер на одной ноте, которая не кончалась и не начиналась.

А потом — вопль.

Он пришёл отовсюду. Сверху, снизу, изнутри. Не крик живого существа, а что-то другое: звук, который будто существовал до того, как мир научился слышать. Рваный, дикий, он пронзил череп, прошёл сквозь мозг насквозь, и я отбросил автомат, схватился за голову, прижал ладони к ушам, но звук был не снаружи — он был внутри, в костях, в зубах, в каждой клетке, которая ещё помнила, что значит чувствовать. Я упал на землю, свернувшись, прижав колени к груди, и мир раскололся.

Через миг всё стихло. Но тишина была хуже, потому что теперь в ней было что-то ещё: присутствие. Не чьё-то конкретное, а просто — присутствие, будто туман стал живым и наблюдал за мной.

Я не видел ничего. Ни мальчика, ни автомата, ни даже собственных рук. Туман был таким плотным, что казался осязаемым, будто я лежал внутри ваты, и она обволакивала меня, давила, забирала воздух. Накатывал дикий, первобытный страх — не страх перед чем-то, а страх перед самой пустотой, перед тем, что мир исчез и никогда не вернётся.

А потом слышались голоса.

Сначала далеко, как эхо в длинном коридоре, потом ближе. В глубине пелены замелькали жёлтые огоньки — тусклые, неровные, будто чья-то рука дрожала, держа фонарь. Они двигались хаотично, то приближаясь, то отступая, и каждый огонёк звучал голосом. Разные голоса, мужские и женские, молодые и старые, и все говорили одновременно, накладывались друг на друга, превращаясь в гул, в гудение, в белый шум, из которого вдруг, чётко и ясно, как из воды, проступил один голос.

Голос Насти.

«Дядь Лёша, не бойтесь! Это я! Подождите!»

Я подорвался с земли и побежал. Сам не понимая куда, не видя ничего, не зная, что впереди и что сзади. Бежал от голоса, от огней, сквозь белую стену, пытаюсь вырваться за её пределы, но туман не кончался. Мне казалось, я пробежал уже метров триста, но расстояние не имело значения: туман был везде, всегда, бесконечно, будто я бежал внутри собственного черепа и не мог выбраться.

Стало трясти. Сначала мелко, как от холода, потом сильнее, рвано, всё тело ходило ходуном, будто из меня вынимали кости одну за другой. Страх накатывал волнами, каждая тяжелее предыдущей, и в каждой волне был голос Насти. Он был не снаружи. Он был внутри, в голове, громкий, такой чёткий и ясный, что слышалась каждая нотка, каждый оттенок, каждое

дыхание между словами. Нежно, звучно, приятно. И от этой нежности было страшнее, чем от любого крика, потому что крик можно ненавидеть, а нежность хотелось слушать, хотелось идти за ней, хотелось сдаться.

«Дядь Лёша...»

Я упал. Ноги не выдержали, колени подломились, и я рухнул лицом в мокрую, холодную землю. Мне не хватало воздуха. Лёгкие горели, будто вместо воздуха я вдыхал песок. Судорожно, трясущимися руками я стал стягивать противогаз с головы. Пальцы не слушались, скользили по ремням, и я рвал, дёргал, пока маска наконец не слетела и холодный осенний воздух не ударил в лицо, не врезался в лёгкие, не заполнил их грубо, жадно, без всякой нежности. Настоящий воздух. Пахнущий землёй, гнилью, металлом. Живой.

Дышать стало легче. Огни, метавшиеся в тумане, становились ярче. Голос Насти пропал, будто выключенный. И на его место пришло другое.

Я смотрел вверх. Мне хотелось увидеть небо. Просто небо. Серое, пустое, любое. Я прищурил глаза, попытался сфокусироваться, попытался найти хоть одну точку опоры в этом растворившемся мире.

И вместо неба увидел мальчика.

Он склонился надо мной, и теперь я наконец-то видел его лицо. Пустые белые глаза, без зрачков, без радужки, — просто две белые мутные сферы, будто кто-то залил стекла молоком. Обвисшая кожа под глазами и на подбородке, серая, будто расплавленный воск, медленно стекающий по черепу. Рваная, окровавленная щека, сквозь которую виднелись зубы, белые, слишком белые, слишком чистые для этого мира. И он шевелил губами. Произносил какие-то слова, будто пытался мне что-то сказать, но я не понимал ни одного. Все звуки сливались в один сплошной, режущий, скрежещущий набор: скрип металла по стеклу, треск рации, шёпот из пустоты, и всё это одновременно, и всё это — его голос, его «слова», его послание, которое мой мозг отказывался принимать, отторгал, бился в нём, как рыба об лёд.

Я снова закрыл уши ладонями, но продолжал видеть шевелящиеся губы. Они двигались всё быстрее, будто слова ускорялись, будто он торопился сказать всё до того, как что-то случится. Зажмурился. Всё тело тряслось, как в припадке, и в этой дрожи мир начал распадаться на части: цвета потекли, звуки растворились, время свернулось в петлю, и я провалился в чёрное, густое, абсолютное ничто, в котором не было ни страха, ни боли, ни Настиного голоса, ни мальчика, ни меня.

А потом из этого ничто, как из глубины воды, проступил голос.

«Вставай, дядь Лёш. Поднимайся. Это я... Настя.»

Я открыл глаза.

Мальчика не было. Я увидел серое небо. Настоящее. Низкое, тяжёлое, но настоящее. В ушах раздавался противный, тонкий писк — высокий, ровный, без пауз, будто кто-то прижал палец к стеклу и не отпускал. Сквозь этот писк, как сквозь толщу воды, пробился другой звук. Голос. Знакомый. Настоящий.

Голос Антонова.

— Да что с тобой такое, Лёха?! Очнись! — голос Антонова ударил резко, без крика, но с той стальной нотой, которая появляется, когда страх загоняют в угол и заставляют работать. — Валерка, найди его противогаз! Бегом!

Я чувствовал, как грудь сдавливает чудовищной силой — будто на неё положили бетонную плиту и медленно, неотвратно давили. В глазах темнело, края реальности расплывались, и я открывал рот, хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег, — но его не было. Совсем.

— Да шевелись ты! Нашёл? — снова прозвучал голос Антонова, ровный, напряжённый, будто он удерживал на плечах не только себя, но и нас всех.

— Да! Вот он! Одевай! — выдохнул Валерка, подбегая и на ходу швыряя противогаз.

Я почувствовал, как на голову натягивают маску, как она плотно прилегает к лицу, и через пару секунд давящее чувство в груди стало слабеть, отступать, словно кто-то понемногу снимал груз. Темнота в глазах рассеивалась, и постепенно проступили лица друзей — напряжённые, бледные, с резкими тенями, будто мир на мгновение стал чёрно-белым. Во рту пересохло, язык казался чужим, тяжёлым.

— Ввв... воды, — выдавил я дрожащим голосом, и сам удивился, насколько слабым он прозвучал.

— Сейчас, дружище. На, выпей, — Антонов аккуратно стянул противогаз ровно настолько, чтобы я мог сделать глоток, а потом так же быстро, без суеты, вернул его на место. Движение было отработанным, точным — не от паники, а от привычки спасать.

Стало ещё легче. Не сразу, не до конца, но будто в груди приоткрылась маленькая щель, и туда пробрался воздух.

— Что с тобой произошло? — спросил Валерка. В его голосе не было насмешки, не было привычной бравады — только тревога, сдержанная, но осязаемая, как натянутая струна. — Мы как в город вошли, тебя как подменили.

— В смысле? — переспросил я, пытаюсь собрать мысли, которые разлетались, как сухие листья на ветру.

— В прямом! — Валерка говорил быстро, но не сбивчиво, будто боялся, что если остановится, то слова застрянут в горле. — Замолчал. Шёл, смотрел в одну точку, будто сквозь нас. Потом что-то бубнил себе под нос, тихо, неразборчиво. А потом вдруг рванул вперёд, будто увидел врага. Автомат бросил, потом вовсе на землю повалился, тряся, как в лихорадке, противогаз сорвал... Что это было, Лёха?

Я закрыл глаза на секунду, пытаюсь удержать перед внутренним взором то, что видел, но образы рассыпались, как песок сквозь пальцы.

— Я ребёнка видел... — проговорил я, и сам услышал, как странно звучат эти слова — будто они принадлежат кому-то другому.

— Кого?! — Антонов и Валерка спросили одновременно, и в этом едином голосе прозвучало не удивление, а страх, который они не хотели показывать, но не могли спрятать.

— Мальчика. Маленького. Он с игрушкой играл... А потом туман... И голос. Настя... — я сглотнул, и во рту снова стало сухо. — Я слышал голос Насти. Прямо рядом. Прямо в голове. Она что-то говорила мне...

Антонов на мгновение замер, будто прислушивался не ко мне, а к чему-то внутри себя, проверяя, не обманывает ли его слух. Потом тяжело выдохнул.

— Ох, как накрыло-то тебя... — произнёс он, поднимая меня на ноги. Его руки были твёрдыми, уверенными, и от этого становилось чуть спокойнее. — Мы уж и не знали, что думать.

Я огляделся по сторонам. Голова кружилась, мир покачивался, как палуба корабля в шторм, и приходилось цепляться взглядом за неподвижные предметы, чтобы не потерять равновесие.

— Ты идти-то можешь? — спокойно, но внимательно спросил Антонов, глядя мне прямо в глаза, будто пытался прочесть в них ответ раньше, чем я его произнесу.

— Думаю, да... — ответил я, и в этих словах не было уверенности, но была попытка её изобразить.

Валерка оглянулся на улицу, на пустые окна домов, на серый, безжизненный горизонт, будто искал там подтверждение, что всё в порядке. Но ничего не находил.

— Надо бы укрыться и передохнуть, — сказал он, и в его голосе прозвучала не усталость, а необходимость — та самая, которая приходит, когда понимаешь, что дальше без паузы не пройти. — Пусть он очухается до конца. Да и нам самим передохнуть не мешало бы. Ночь целую пёрли. Ноги-то не казённые.

Антонов кивнул, будто взвешивая каждое слово, каждую возможность. Потом указал на небольшой одноэтажный домик с покатой крышей. Дом выглядел не то чтобы гостеприимно — скорее устало, будто он держался из последних сил, но всё ещё стоял.

— Хорошо. Идём к тому дому, — произнёс он твёрдо, без лишних слов, и это «идём» прозвучало как приказ, который нельзя оспорить, потому что он был не про власть, а про ответственность.

Мы двинулись вперёд. Медленно, осторожно, шаг за шагом, будто каждый метр нужно было заслужить. Валерка шёл рядом со мной, готовый подхватить, если я снова пошатнусь. Антонов шёл впереди, сканируя пространство, как хищник, который знает, что опасность может быть не только снаружи, но и внутри.

Мы устроились в нашем временном укрытии — в комнате, где пахло пылью, старой штукатуркой и чем-то давно прокисшим. Распределили дежурство: Валерка — первым, я — вторым, Антонов — последним. Каждому по два часа.

Я уселся в углу, привалился спиной к стене, и усталость тут же потянула вниз, будто к ногам подвесили гири. В икрах чувствовалась та самая дрожь, которая приходит не от холода, а от того, что тело наконец-то поняло: бежать больше не надо. Пока не надо. Глаза сами собой стали закрываться.

— Лёха... — прошептал Валерка прямо у моего уха, так близко, что я чуть не подпрыгнул. — Вставай, твоя вахта. Хватит изображать спящего медведя — зима ещё не пришла.

Я распахнул глаза, огляделся. Антонов спал в противоположном углу, втиснувшись между сервантом и столом, будто специально выбрал самое неудобное место — будто если будет неудобно, то и спать не захочется. Но сейчас он спал крепко, ровно, без храпа, как человек, который знает: если не выспишься сейчас, потом шанса не будет.

Я поднялся, потянулся, чувствуя, как по спине пробегает лёгкая судорога, и подошёл к окну. Выглянул наружу. Улица лежала перед нами серая, пустая, будто нарисованная углём.

— Ничего не происходило? — спросил я у Валерки.

— Да нет вроде... — уже устраиваясь на моём месте, пробубнил он. — Пару мазутников прошло по той стороне улицы, не более. Скука смертная. Я даже подумывал выйти и сказать им: «Ребята, давайте хоть партию в шашки сыграем, а то я тут от тишины с ума схожу».

— Ладно, спи, — усмехнулся я.

Валерка тут же вытянулся, пристроил голову на свёрнутой куртке и через пару секунд захрапел. И как у него это получалось — засыпать быстрее, чем чайник закипает?

Я сел в кресло напротив окна. В голове снова закрутились обрывки того, что было днём: лицо мальчика, скрип и лай вместо слов, голос Насти — близкий, родной, будто она стояла рядом и шептала мне что-то важное, а я не мог разобрать. По спине пробежали мурашки. Я встряхнул головой, прогоняя видения.

Вдруг на крыше пятиэтажки напротив что-то мелькнуло. Чёрная тень, скользнувшая по краю. Я приподнялся, прищурился. Ничего. Пустота.

— Показалось... — прошептал я и снова опустился в кресло, стараясь дышать ровно, не выдавать, что сердце вдруг заколотилось быстрее.

Не прошло и минуты, как на крыше мелькнул чёрный силуэт. Я резко соскочил с кресла и, пригнувшись, подобрался ближе к окну. Прижался лбом к холодному стеклу, всматриваясь.

Через мгновение он снова появился. Будто бы смотрел прямо на меня. Фигура в чёрной одежде, с капюшоном, замерла возле вентиляционной трубы, и я мог поклясться: он тоже меня видел. Мы стояли, разделённые улицей, этажами и десятком метров воздуха, и смотрели друг на друга, как два хищника, которые ещё не решили, кто сделает первый шаг.

Я потянулся за автоматом. И ровно в тот же миг силуэт шевельнулся и исчез за трубой. Я продолжал смотреть, не отрываясь, будто если моргну, то всё исчезнет или, наоборот, станет реальностью.

И тут со стороны крыши раздался одиночный выстрел.

Долю секунды спустя в пол комнаты, прямо передо мной, врезалась пуля, выбив из доски щепки и оставив аккуратную, злую дыру.

— Что за...?! — рывкнул я, голос сорвался на хрип. — Подъём!

Антонов и Валерка вскочили мгновенно, будто и не спали вовсе. Схватили оружие и в два прыжка оказались рядом со мной.

— Там на крыше снайпер! — быстро проговорил я. — Он сначала наблюдал, потом скрылся...

Не успел я договорить, как раздался ещё один выстрел. Валерка рухнул на пол, вжавшись в доски, будто хотел стать частью пола. Антонов же, напротив, вскочил в полный рост, прислонился к стене возле окна и коротко выглянул наружу.

Снова выстрел. Пуля ударила в подоконник, брызнули щепки.

— Из винтовки шмалит! — рывкнул Антонов и снова выглянул, быстрее, резче, будто пытался поймать движение.

Бам! Бам! Два выстрела подряд. Пули вошли в шкаф и в пол, будто кто-то методично ставил отметки.

— Кто это такой?! — заорал с пола Валерка. — Откуда он, сука, взялся?! Может, это местный сторож решил, что мы слишком громко дышим?!

— Не ори! — скомандовал Антонов, голос его звучал жёстко, без намёка на панику. — Всем приготовиться! На счёт три я открываю огонь, стреляем одиночными. Как только я перестану стрелять, сразу начинаешь ты, Лёха. Если не снимем — повторяем. Понятно?

Мы с Валеркой кивнули, пальцы сами собой крепче сжали оружие. Антонов досчитал до трёх и резко высунулся в окно, выпустив два одиночных выстрела.

— Давай, Лёха, быстро-быстро!

Я рывком поднялся, навёл мушку на трубу, туда, где должен был быть силуэт. И он появился. Точно в прицеле. Я нажал на спусковой крючок.

Бам!

Стрелок исчез. Я опустил автомат.

— Снял... — выдохнул я, и на секунду показалось, что всё кончилось.

Но тут же: бам! бам! бам! Пули ударили в пол, в шкаф, в подоконник. Мы все втроем рухнули на доски.

— Не снял... — пробормотал Валерка, уткнувшись носом в пол. — Живучий, падла... Прямо как таракан после дезинфекции.

— Уходим! — скомандовал Антонов и, пригнувшись, бросился к выходу. Мы рванули за ним.

На улице мы метнулись на задний двор, перепрыгивая через мусор, обломки ящиков, ржавые бочки — двигались хаотично, меняя направление, чтобы сбить прицел. Снова раздалась выстрелы. Пуля врезалась в металлический бак, звонко лязгнула и рикошетом ушла в сгнившее дерево — туда, где я только что стоял.

— Сюда! — крикнул Валерка и махнул рукой в сторону небольшого каменного строения, похожего на старый сарай.

Ещё один рывок — и я нырнул за угол. Лёгкие горели, в ушах стоял гул, но я слышал только собственное дыхание и стук сердца. Выстрелов больше не было.

Я старался отдышаться, прижимаясь к шершавой стене.

— Ну и что дальше? — нервно спросил Валерка. — Будем сидеть тут и надеяться, что он сам устанет стрелять? Или, может, мы ему надоедим?

— Пока ждём. Пытаемся вести наблюдение, — выдохнул Антонов, усаживаясь на землю и прислоняясь спиной к стене. Он говорил спокойно, но в глазах читалось напряжение — такое, когда знаешь, что времени мало, а вариантов ещё меньше.

— Чего ждём?! — не выдержал Валерка. — А вдруг он не один? Сейчас обойдут, и кранты нам! Может, он там по телефону звонит: «Алло, бригада, тут трое подозрительных, выезжайте!»

— Да угомонись ты уже! — рявкнул Антонов, но без злобы, просто чтобы сбить панику. — Сейчас придумаем. Сядь.

Мы присели на корточки. Стена полностью закрывала нас от пятиэтажки. Пока мы были в безопасности.

— Итак, что мы имеем? — начал Антонов, будто раскладывал факты по полочкам. — Стрелок на крыше. Неизвестный. Стреляет хорошо. Пули пролетают прямо над ухом, но почему-то не попадает. Специально?

— Ты думаешь, он спецом мажет? — удивился я.

— Скорей всего. Походу, это бандюги. Заметили нас, когда мы тебя в твоём припадке ловили, проследили...

— А чего сразу не хлопнули? — перебил Валерка.

— Откуда мне знать, Валерка?! — Антонов чуть повысил голос, но тут же взял себя в руки. — Может, ждали чего-то. А может, тупанули. Хрен их знает. Факт в том, что высунься мы из укрытия — опять шмалять начнут. Но и сидеть тут долго нельзя. Эти по одному точно не ходят. По любому уже к нам ещё пара-тройка крадётся. Думай, думай, башка! — он легонько постучал себя ладонью по голове. — Ладно. Вон видите через дорогу дом? А рядом — грузовик перевёрнутый?

Мы кивнули.

— По одному перебегаем за него. Но стараемся успеть глянуть на улицу, что ведёт дальше в глубь городка. Понятно? — Антонов перевёл дыхание. — А там будем дальше думать. Всё. Вперёд!

Первым рванул Валерка, петляя, как заяц. За ним — Антонов. Я выскочил последним. Тут же прозвучали ещё два выстрела. Но пули ушли в сторону.

— Так, по улице никого! Значит, в тыл нам не заходят пока. Это радует, — рассуждал Антонов, быстро оглядываясь, оценивая пространство. — Вот только с этой гадской пятиэтажки вид на всю улицу...

— Надо его завалить! — снова вмешался Валерка.

— Как?! — рявкнул Антонов. — У тебя винтарь есть? Или, может, РПГ в рюкзаке завалась?

— Нужно его выманить, — предложил я.

— Я думал над этим. Мы даже попытались, ещё в доме... Ничего не вышло.

— Мало выманили. Одна голова только показалась. Вероятность маленькая была... Надо его полностью вытащить.

И тут из домика за нашими спинами послышался тихий голос. Мы одновременно обернулись.

Из темноты выбитого окна на нас смотрел человек и подзывал рукой, делая быстрые, нетерпеливые жесты. Антонов и я переглянулись.

— И вот почему мы не додумались залезть в это окно? — саркастически протянул Валерка, тыкая пальцем в сторону фигуры в окне. — Может, у него там горячий чай и бутерброды с колбасой? Или хотя бы план эвакуации?

Глава 3

Настя

Настя бросила взгляд на наручные часы — без пяти десять. Всего три часа, как дядя Лёша ушёл в рейд, а сердце уже сжималось от тревоги, будто кто-то тихонько тянул за невидимую

нить где-то под рёбрами. В голову лезли картины одна страшнее другой: мутанты, затаившиеся в руинах, внезапная ловушка, глухой переулочек, из которого не выбраться... И ладно бы это были просто пустые страхи — так нет, она ведь наслушалась историй от бывалых сталкеров: про поверхностную нечисть, про то, как тишина в городе бывает громче любого крика, про места, где время будто застывает, и человек исчезает, не оставив даже тени. Эти рассказы въедались в память, как копать в стены убежища, и теперь каждая тень в коридоре казалась предвестником беды.

Но Настя знала один простой, почти смешной способ прогнать эти мысли: лечь спать. Время и правда было позднее, а завтра — смена, и нельзя было выходить к людям с глазами, полными ночных страхов. Она вздохнула, пытаясь стряхнуть с себя эту липкую тревогу, и подошла к двери своей комнаты.

Пошарив по карманам потрёпанной куртки, она вытряхнула всё, что там было: скомканный платок, пару медных монет, обрывок записки с чьим-то именем — и никакого ключа. Настя раздосадованно прикусила губу и тихо, почти шёпотом, ругнула себя:

— Вот дура... Кирюхе отдала же.

Она торопливо сунула всё обратно, будто если спрятать беспорядок, то и забывчивость станет не такой обидной, и направилась в западное крыло убежища — туда, где жил друг Кирилла, с которым тот был не разлей вода.

Шаги её звучали чуть быстрее обычного, но не от спешки, а от того самого нетерпения, когда хочется просто вернуть ключ, закрыть дверь и спрятаться от всех этих тревог за знакомой, чуть поцарапанной створкой.

Добежав до нужной двери, Настя постучала — три раза, громко, но без злости, так, чтобы услышали, но не подумали, что она в панике.

За дверью послышались шаркающие шаги, неторопливые, будто человек шёл, не особо торопясь, и наконец раздался голос:

— Кто?

— Настя это! — ответила она чётко, чуть повысив голос, чтобы не пришлось повторять. — Кирилла позови!

Снова шаги, потом громкий мужской бас, в котором слышалась ленивая усмешка:

— Эй, братишка! Там к тебе сеструха пришкандыбала, в дверь тарабанит!

Через минуту дверь распахнулась с противным скрипом, будто не хотела открываться, и на пороге появился Кирилл. Он смотрел на неё без особого удивления, будто каждый вечер к нему стучалась сестра, и это было самой обычной вещью на свете.

— Чего тебе, Насть? — спросил он, слегка нахмурившись, будто уже знал, что разговор будет не про чай и не про погоду.

— Ключ от комнаты дай, — сказала Настя, и в голосе её прозвучала та самая девичья настойчивость: не грубая, не крикливая, а твёрдая, как будто она знала, что имеет право требовать, даже если внутри всё ещё дрожало от беспокойства. — Свой посеял, а мой решил себе присвоить?

Кирилл фыркнул, скривил недовольную физиономию, будто ему принесли самую нелепую претензию на свете, и, порывшись в кармане штанов, вытащил ключ.

— Тю, так ты поэтому так тарабанила? Тьфу... — протянул он, протягивая ключ. — На, держи. И это... меня сегодня дома не будет. Сама там как-нибудь, ок?

Настя замерла на секунду, и в груди снова шевельнулось то самое чувство — не просто тревога, а ощущение, будто мир вокруг становится чуть менее надёжным.

— Это чего вдруг? — спросила она, и голос её чуть дрогнул, но она тут же постаралась выровнять его, чтобы не выдать, насколько ей сейчас хотелось, чтобы кто-то остался рядом. — Дядя Лёша в рейд, а ты в загул? Да?

— Да не загул это! — Кирилл закатил глаза, но в его голосе не было раздражения, скорее привычная бравада, которой он прикрывал что-то ещё. — Просто Сашкин отец вернулся. Будет сегодня рассказывать про поход. Сашка говорит, батя его до города дошёл, да такого навидался, что кровь стынет... — он на секунду сделал жуткое лицо, будто хотел её напугать, но получилось только немного нелепо. — Ладно, всё, иди домой! Завтра вернусь.

Дверь захлопнулась перед её носом с глухим, окончательным стуком. Настя постояла ещё пару секунд, прислушиваясь к тишине, которая вдруг стала слишком громкой, а потом медленно пошла в сторону своей комнаты, прижимая ключ к ладони, будто он мог удержать вместе всё то, что сейчас рассыпалось внутри.

Открыв дверь и войдя внутрь, Настя первым делом потянулась к керосинке — та стояла на привычном месте, будто ждала её. Щёлкнул кремёнь, вспыхнул фитиль, и по комнате поплыл тёплый, чуть маслянистый свет, выхватывая из полумрака знакомые углы, сколотую ручку шкафа и стопку старых газет, сложенных у стены. Девушка поставила лампу на край стола, и тут же взгляд её зацепился за записку — по традиции оставленную дядей Лёшей.

«Дети! Сегодня я снова выхожу в рейд к бухте. Надеюсь, что скоро вернусь и принесу что-нибудь интересное. Продукты купите сами. У меня под подушкой лежит пара пачек сигарет для обмена на Дуге и четыре патрона. Не транжирьте всё просто так. Ваши д. Лёша».

Дочитав, Настя аккуратно сложила листок и убрала его в бумажную папку, где хранились все записки дяди — от самых первых, написанных торопливым, размашистым почерком, до сегодняшних, где буквы будто стали мельче, будто он берег каждую каплю чернил. Она провела пальцем по корешку папки, словно касаясь не бумаги, а самой памяти о каждом его возвращении.

Потом она поставила на горелку металлический чайник — тот самый, с чуть погнутым носиком, который дядя Лёша когда-то притащил с поверхности, сказав: «В нём вода вкуснее, потому что он помнит тепло». Чайник был наполовину полон, и, пока вода нагревалась, Настя взялась за жестяную банку с фасолью. Несколько минут возни с ножом, и крышка наконец поддалась.

Внутри оказалась коричневая масса, похожая на слизь с комочками, — и пахла она так, будто сама банка давно забыла, что такое свежий воздух. Но выбирать не приходилось: торговцы на Дуге уже разошлись, а есть хотелось. Настя ела, стараясь не думать о вкусе, и запивала чаем из ароматных трав — тех самых, что дядя приносил с поверхности, будто хотел принести в убежище хоть немного живого мира.

После ужина она умылась холодной водой из жестяного ковшика, расчесала длинные светлые волосы, и, лёжа в постели, снова вернулась мыслями к дяде Лёше. Воображение рисовало картины одна страшнее другой: огромные улитки, ползущие по виноградникам возле Ахтиара, гигантские крылатые твари, чей мерзкий писк будто проникал под кожу, и, венцом всех страхов, — странный белый человек, на которого то и дело натыкались сталкеры. Дядя Лёша тоже его видел — и, рассказывая, всегда замолкал на секунду, будто сам не верил своим словам.

Настя очень любила дядю, дорожила им, была благодарна за то, что он вырастил их с Кириллом, стал им отцом. И от этой благодарности тревога становилась только острее — как будто чем больше ты ценишь человека, тем страшнее представить, что он может не вернуться. Повертевшись с боку на бок, она наконец уснула, и бурные мысли тоже затихли, будто спрятались до утра.

Утро в убежище наступало не с рассветом — его тут не видели, — а по часам. Для Насти это всегда было шесть утра. Она вставала за час до смены, чтобы успеть собраться и не опоздать на грибницы. Позавтракав остатками вчерашнего ужина и выпив ещё одну чашку травяного чая, Настя вышла из комнаты и направилась к хозблоку.

— Привет, Настенька! — раздался голос, и перед ней появился дядя Слава.

Старику было лет шестьдесят, не меньше. Он стоял в своей старой, дряхлой ватной куртке, в фартуке, заляпанном землёй и грибной пылью, в синей пилотке с потёртой кокардой. На руках — шерстяные перчатки с обрезанными пальцами, чтобы удобнее было работать, а на поясе болтался ремень, увешанный ножами и кинжалами. Среди всей этой коллекции особенно выделялся один — в чёрных ножнах с позолоченными вставками.

— Доброе утро, дядь Слав, а вы чего ещё не ушли? — спросила Настя, завязывая за спиной свой потрёпанный фартук.

— Да вот заработался я, Настюш, — вздохнул старик, и в его голосе прозвучала не усталость, а какая-то тихая, упрямая забота. — Они ж, грибочки, любовь и внимание любят. Ну как же я их без присмотра-то оставляю?

— Да, дядь Слав, любите же вы свои плантации, — улыбнулась Настя.

— Ну а как не любить-то, Настюш? Это ж... как его... — он запнулся, подбирая слово, будто оно пряталось где-то на краю памяти.

— Хозяйственный прорыв, — подсказала Настя. — Так Сергеевич на собрании говорил.

— Ну, прорыв, не прорыв... Чёрт его знает, — махнул рукой дядя Слава, стягивая фартук. — Только без этого никак. Без труда мы тут все пропадём, вот оно как. А ты, Настюш, сегодня где?

— Всё там же, дядь Слав, на грибницах. Вот, вахту у вас принимаю. Вы идите, отдохните, не переживайте. Присмотрю я и за грибочками, и за этим самым прорывом хозяйственным! — Настя снова улыбнулась и направилась ко входу в грибницу.

Внутри было душно, пахло сыростью и прелой землёй, и воздух будто цеплялся за кожу. На металлических полках, в деревянных ящиках, худо-бедно росли грибы — около полутора тысяч штук, и это только в этой грибнице. Серо-белые головки выглядывали со всех сторон, как маленькие молчаливые наблюдатели. «Это ещё не предел, — всегда говорил дядя Слава. — Можно и больше вырастить. Раньше ведь как было: теплицы, парники, целые хозяйства... А теперь вот так, по крохам».

Настя прошла вдоль полок, осмотрела каждый ящик, проверила влажность, отметила, где нужно подсыпать грунт. Потом вернулась к входу, где на стене висела планшетка с листком бумаги — на нём велись отметки о состоянии грибницы. Пробежавшись глазами по строчкам, она увидела, что за прошедшую ночь дядя Слава рассадил ещё несколько ящиков и подготовил грунт для пары новых. Всё записал, всё отметил — будто боялся, что если не запишет, то что-то исчезнет.

Теперь оставалось только собрать готовые грибы и передать их в хозблок, где с ними уже будут разбираться старшие технологи. Работа была не пыльная, но в духоте и сырости время тянулось невыносимо медленно. Уже к обеду Настю начало клонить в сон. Обязанности она выполнила, и теперь оставалось просто сидеть и ждать, когда придёт дядя Слава на вторую смену. Сегодня ей выпадала ещё и вечерняя, переходящая в ночную.

Из соседних грибниц доносились звонкие голоса девчонок — они уже собирались по домам, смеялись, переговаривались, будто за стенами убежища не было ни рейдов, ни мутантов, ни вечной нехватки еды. А Насте оставалось ещё около часа, и она решила всё-таки не отказывать себе в удовольствии вздремнуть.

— Агаа! Спим, красавица?! — вдруг раздался добрый, бодрый голос дяди Славы.

Настя подскочила со стула, волосы съехали на лоб, она быстро моргала, пытаясь прогнать остатки сна и понять, что происходит.

— Ой, дядь Слав, я тут задремала... — виновато посмотрела она на него. — Но вы не подумайте! Я всё сделала! Всё-всё!

— Да ну чего ты? — улыбнулся старик. — Не переживай, я ж тебе как себе!

Настя стала стягивать фартук и снова наткнулась взглядом на набор ножей, а точнее — на тот самый кортик в чёрных ножнах.

— Дядь Слав, а что это за ножик такой в ножнах? — не выдержала она.

— Ааа, девочка моя, это кортик, — тихо произнёс дядя Слава и провёл ладонью по ножнам, будто погладил что-то живое. — Деда моего. Он офицером морским был, в Севастополе на корабле служил... в войну.

— Какую войну? — удивилась Настя. — Война ж двадцать лет назад была, и то... не война, а Бум! И всё!

— Нуу, Настюш, война и до этого была. Их много было вообще, но эту многие до сих пор помнят. Великая Отечественная. И Севастополь в ней ой как сильно пострадал. Практически весь разрушен был. Четыре года его у противника отбивали, четыре года мучений и страха. Но выстоял же, великий-то наш Севастополь! — старик замолчал на мгновение, грустно вздохнул, и голос его стал тише, будто он говорил не с Настей, а с кем-то далёким. — Вот и дед мой участие принимал в обороне. А в сорок пятом ему медаль и кортик наградной вручили — дескать, за заслуги перед Отечеством. Вот оно как, Настюш.

— Как интересно! — глаза Насти загорелись. — А расскажите ещё, дядь Слав! Ну пожалуйста!

— Хорошо, хорошо, Настюш, только не сегодня, — мягко покачал головой старик. — Работы много. Давай в другой раз, дорогая?

— Ладно, — Настя грустно выдохнула. — Но только обязательно, дядь Слав! Я очень буду ждать.

— Обязательно, девочка моя, обязательно, — пообещал дядя Слава. — А теперь марш домой! Отдыхай и выпишись как следует. А то вон она какая, на работе спать удумала! Ух! — он рассмеялся, натянул на голову пилотку и шагнул из комнаты для персонала.

Покинув хозблок, Настя решила сходить на Дугу — прикупить чего-нибудь съедобного на ужин, да и впрок на несколько дней не мешало бы закупиться. Брата ждать бесполезно: крутится целыми днями у своего кореша закадычного, да байки сталкерские слушает. Мало ему их на дежурстве, что ли? Но возмущаться про себя — это одно, а делать дело — совсем другое. И Настя пошла к Дуге, туда, где жизнь убежища бурлила, как закипающий чайник, и где каждый кусок хлеба стоил не денег, а историй, труда и удачи.

По дороге на Дугу Настя снова вернулась мыслями к дяде Лёше. Уже сутки прошли с момента его ухода, а до возвращения, по его же словам, оставалось ещё двое. Волнение подступало тихо, как вода, просачивающаяся сквозь трещину в стене, — не сразу и не сильно, но настойчиво, капля за каплей заполняя пустоту, в которую обычно она старалась не заглядывать. Но стоило Насте шагнуть на Дугу, как тревога рассеялась — не потому что исчезла, а потому что здесь для неё просто не осталось места.

Жизнь на Дуге кипела так, будто за её пределами не было ни тварей, ни руин, ни Бума. Повсюду неслись вопли и выкрики торговцев, каждый из которых зазывал покупателя громче соседа, будто от этого зависела его жизнь — и, наверное, зависела. Пьяные бредни местных алкоголиков сливались в сплошной, монотонный гул, к которому привыкаешь, как привыкаешь к шуму воды в трубах. Суeta не останавливалась ни на секунду: кто-то бежал, кто-то стоял, кто-то ругался, кто-то смеялся, и всё это одновременно, в одном тоне, в одном воздухе, пропахшем копотью, маслом и чужим потом. Здесь можно было встретить кого угодно: грязного попрошайку, жавшегося к стене, и матёрого сталкера, который шёл так, будто весь этот хаос существовал только для того, чтобы расступиться перед ним.

Настя всегда старалась скупиться как можно быстрее и уйти обратно, в жилой ярус, от греха подальше. Дуга не была её местом: слишком шумно, слишком тесно, слишком много глаз, взглядов, слишком много людей, которым до тебя нет дела, пока ты им не нужна. Она ходила к одному и тому же торговцу, покупала всегда одни и те же консервы, овощи и яйца, и от этой привычки ей было спокойнее — будто в мире, где всё менялось каждую секунду, хоть что-то оставалось неизменным.

Обойдя стороной двух чумазных мужиков, пытавшихся снять проститутку, Настя почти подошла к нужному прилавку. До него оставался всего один шаг. Она уже видела добродушную улыбку торговца, его знакомое, обветренное лицо, и уже протянула руку, чтобы поздороваться.

И тогда мир разорвался.

Взрыв пришёл из глубины тоннеля — глухой, тяжёлый, будто кто-то ударил кувалдой по черепу изнутри. Звук прокатился по всей длине Дуги эхом, множась, нарастающим, отражающимся от стен и свода, и в этом эхе было что-то такое, отчего тело реагировало раньше, чем мозг. Ноги подкосились, в ушах зазвенело, а воздух вдруг стал плотным, горячим, будто тоннель выдохнул — выдохнул так, что людей качнуло, как траву на ветру.

Настя не успела даже вскрикнуть. Толпа подхватила её, закружила, понесла — и больше не было ни прилавка, ни торговца, ни улыбки, ни яиц, ни консервов. Был только поток человеческих тел, несущийся к подъёму на второй ярус, и в этом потоке каждый был сам за себя: локти в рёбра, чужие спины, чьи-то крики прямо в ухо, чья-то рука, чуть не сбившая с ног. Люди падали, их топтали, поднимались и снова бежали, и никто не оглядывался, потому что оглядываться означало остановиться, а остановиться означало умереть. Настя оказалась в самом центре этой человеческой лавины, и всё, что она могла, — это не упасть, держаться на ногах, цепляться за чужие плечи, за стены, за воздух, лишь бы не оказаться внизу, под ногами, под сапогами бегущих.

А в глубине тоннеля, там, где заканчивались торговые ряды и кончалось нормальное освещение, стало тихо. Только аварийные лампы, через каждые сорок метров, мерцали тусклым жёлтым светом, и в этом свете всё выглядело застывшим, неживым, будто тоннель оборвался и дальше не было ничего. Тишина после взрыва стояла такая, что в ней можно было расслышать собственное сердцебиение. Густая, пустая, ждущая.

Сталкеры, оказавшиеся на Дуге в момент взрыва, первыми пришли в себя. Шестеро, схватив оружие, отрядом двинулись в сторону глубины тоннеля, туда, где прогремел взрыв. Они шли быстро, но не бегом, — прижавшись к стенам, держа стволы перед собой, вглядываясь в темноту, где аварийные лампы качались на проводах, будто сами не знали, освещать им это или нет.

Чуть опустив оружие, сталкеры медленно приблизились к первым аварийным лампам. Вгляделись. Тишина не нарушалась ни единым звуком, и от этой тишины по спинам пробежал холодок: после взрыва должно было что-то быть — дым, крики, обломки, хоть что-то. Но не было ничего. Только глухая, пустая тишина, будто тоннель проглотил взрыв и переварил его без остатка.

Ответ не заставил себя ждать.

Буквально через мгновение один из шестерых сталкеров дёрнулся, будто его толкнули невидимой рукой. Прицельный выстрел в голову — сухой, короткий, почти будничным звуком, от которого в висках застучало. Мужчина упал к ногам своих боевых товарищей, и на лице его застыла гримаса — не боли, не страха, а недоумения, будто он до последнего не верил, что это может случиться с ним. Остальные бросились врассыпную, прижались к стенам, вжались в камень, будто хотели стать частью тоннеля.

— Какого хрена?! — выкрикнул один из них, и голос его прозвучал хриплым, сорвавшимся эхом.

Прогремел ещё один выстрел. Пуля со звоном от ricoшетила прямо над головой одного из сталкеров, высекая искры из стены.

— Да что за херня?! Михалыч, прикрой! — снова крикнул сталкер и начал медленно, вплотную к стене, пробираться вперёд, туда, откуда прилетали выстрелы.

Очередной выстрел. Одиночный. Пуля просвистела прямо над головой, так близко, что, казалось, срезала прядь волос.

— Прицельно бьёт, сука, — пробормотал Михалыч, взяв на мушку темноту тоннеля. — Ты только осторожнее, Серый. Эта падла то ли пугает, то ли теперь спецом мажет.

— Ага... — глухо отозвался Серый, не отрывая глаз от темноты.

Остальные трое держали на прицеле невидимое, ждали нового выстрела, чтобы засечь по вспышке место стрелка. Но ничего не происходило. Тишина стояла, будто и не было ни выстрелов, ни мёртвого тела у ног. Серый двинулся дальше, медленно, шаг за шагом, и остальные потянулись за ним, вжимаясь в стену, как в последнюю защиту.

А на Дуге хаос поутих, но не закончился. Люди продолжали толпиться у подъёма к второму ярусу, прижимаясь друг к другу, дыша друг на друга, и в этой толпе, цепляясь за чужие плечи и протискиваясь между спинами, толкалась Настя, стараясь пробраться вперёд. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышат все вокруг. Руки дрожали. Но она шла, потому что стоять на месте было страшнее, чем двигаться, и потому что где-то наверху, в жилом ярусе, была её комната, её кровать, её папка с записками дяди Лёши, и всё это казалось ей единственным безопасным местом в мире, который только что потряхнуло так, что она до сих пор чувствовала этот толчок где-то глубоко внутри, в самой середине себя.

Но вдруг раздался ещё один взрыв — и на этот раз он прозвучал так близко, что Настя почувствовала его не ушами, а спиной, всем телом, каждой костью, будто кто-то ударил её между лопаток кулаком, невидимым, раскалённым, тяжёлым. Она оглянулась.

Из темной части Дуги, будто из пасти какого-то чудовища, выдыхающего смерть, вырвались клубы серо-чёрного дыма — густого, маслянистого, катящегося по полу и потолку одновременно, будто тоннель дышал ядом. Вместе с дымом вылетели... Настя не сразу поняла, что это. Оторванные руки, ноги, обрывки тел, куски плоти в рваной одежде — всё это летело, кувыркалось, разбивалось о стены и падало на пол, будто кто-то вытряхнул мусорный мешок. Те самые сталкеры, ушедшие на разведку. То, что от них осталось.

Секундная тишина — такая короткая, что она, казалось, была не паузой, а вдохом перед криком. И крик пришёл. Не паника — настоящий, истерический, животный ужас, от которого люди перестают быть людьми. Визги, вопли, рёв, топот — всё слилось в один сплошной, оглушающий гул, в котором не было слов, не было смысла, только страх, чистый, как кислота.

Настя почти добралась до ступеней, ведущих наверх. Ещё шаг, ещё один, и она будет в безопасности, там, где свет, где люди, где можно дышать. Она уже видела первый пролёт, уже чувствовала под ногами край ступени, и в этот момент кто-то схватил её за волосы и дернул назад, с такой силой, будто хотел снять с неё скальп. Настя потеряла равновесие, рухнула на спину, ударившись копчиком о камень так, что из глаз брызнули слёзы. Она попыталась ухватиться за впереди стоявшего мужчину, но тот уже бежал, и её пальцы лишь скользнули по его куртке. В этот момент кто-то споткнулся об неё, и колено, тяжёлое, чужое, врезалось в затылок. Мир стал чёрным. А потом — тихим. Настя лежала на полу Дуги, без сознания, а над ней, мимо неё, сквозь неё неслась толпа, бежавшая прочь от темноты.

Автоматная очередь разрежала хаос, как нож режет ткань: резко, коротко, без предупреждения. И вслед за ней — голос. Мужской, сиплый, ленивый, будто человек, которому он принадлежал, не торопился, не волновался, будто весь этот ад был для него не более чем сценой, на которой он давно знал свою роль.

— Дамы и господа! Не стоит паниковать!

Голос звучал из темноты тоннеля, и в нём было столько спокойного, почти дружелюбного самодовольства, что от него становилось страшнее, чем от любого крика. Люди замерли, обернулись, и из дыма, из мрака, шагнул человек в капюшоне, держа автомат на плече, стволом вверх, — шагнул так, будто входил в собственный дом, где его ждали, где ему были рады, где он был хозяином.

— Мы не причиним вам никакого вреда, — продолжал он, и в голосе его проскользнула усмешка, — ээммм... ну, за исключением уже принесённого. Хе-хе!

Он смеялся. Тихо, коротко, будто подавился собственным смехом и выплюнул его, как косточку. И в этом смехе не было ни веселья, ни злости — только абсолютная, ледяная уверенность человека, который знает, что ему ничего не угрожает. Что мир принадлежит ему.

— Не нужно никуда бежать, уважаемые! — он шёл вперёд, и толпа расступалась перед ним, как вода перед кораблем, не от уважения, а от страха. — Мы просто, как это сказать... зашли в гости!

Крики и вопли утихли. Люди перестали ломиться и толкаться. Наступила минутная пауза — напряжённая, наэлектризованная, полная страха, будто воздух в тоннеле стал плотнее и тяжелее, будто сам камень вокруг затаил дыхание.

— Давайте знакомиться? — с иронией произнёс мужчина и медленно снял капюшон.

Свет аварийной лампы упал на его лицо, и Настя, если бы видела, всё равно не поверила бы. Белые волосы, белые брови, белые ресницы, кожа — бледная, почти прозрачная, будто из неё выкачали всю кровь, и только глаза были живыми: красные, как раскалённые угли, как свежая рана, как предупреждение.

— Меня вот, например, Альбиносом кличут, — произнёс он, и улыбнулся, и улыбка была тонкой, острой, как лезвие.

Тишина висела над людьми, как грозовая туча на небе перед бурей: тяжёлая, налитая, готовая пролиться, но не проливающаяся. Никто не осмеливался произнести ни слова. Никто не двигался. Никто не дышал.

— Видите ли, уважаемые! — Альбинос пошёл вперёд, и с каждым шагом его голос звучал громче, увереннее, будто он питался этой тишиной, этой покорностью, этим страхом. — Мы, бедные и брошенные на произвол судьбы, жители расположенного неподалёку посёлка, наше убежище не такое укреплённое, как ваше, и помаленьку проклятая радиация, сука, выедаёт нас день за днём! А мы ведь тоже жить хотим! А? Ведь так, ребята?

Он развернулся к своим людям и поднял автомат вверх.

— Правда, ребята?!

Полностью экипированные в химзащиту люди ответили ему громким, согласным воплем и тоже подняли оружие вверх, и в этом едином жесте было что-то среднее между военным салютом и звериным кличем — то, от чего кровь стыла в жилах.

— Ну так вот... — Альбинос снова повернулся к толпе, и голос его стал мягче, почти ласковым, и от этой мягкости хотелось бежать. — Не будете ли вы любезны принять нас в свою общину, дорогие друзья?

Испуганными взглядами жители Ахтиара смотрели на этого странного, седого человека с красными глазами, и никто не осмеливался произнести ни слова. Тишина стояла такая, что в ней можно было услышать, как бьются чужие сердца.

— Молчите? Хм... — Альбинос наклонил голову, будто разглядывал что-то любопытное, забавное. — Ну ладно. Тогда мы сами. Без разрешения. Не против?

Тишина. Ещё более напряжённая, ещё более плотная, будто стены тоннеля сдвинулись на несколько сантиметров.

— Ну окей! — развёл руками Альбинос, и в этом жесте было столько небрежной, ленивой власти, будто он не просил, а ставил перед фактом. — Молчание — знак согласия, ведь так? Да?

И тогда из толпы, из самого её сердца, прозвучал голос. Женский. Твёрдый, чёткий, как пощёчина.

— Вали отсюда! Давай-давай!

— Оп! — Альбинос поднял бровь, будто увидел что-то неожиданно интересное, и в его голосе прозвучало неподдельное удивление, почти радость, как у ребёнка, нашедшего новую игрушку. — У нас появился парламентёр? Давай, покажись! Ну же!

В толпе началось движение, и через пару секунд перед Альбиносом стояла женщина. На вид лет сорока, в рваной, но ухоженной одежде, с прямой спиной и поднятым подбородком. В руках у неё было что-то вроде трости, перемотанной тряпками посередине. Она стояла так, будто не он смотрел на неё сверху вниз, а она на него.

— Вот ты какая! — растекаясь в улыбке, сказал Альбинос. — Ну привет. Я — Альбинос. А ты?

— Катькой зовут, — громко и чётко проговорила женщина, не дрогнув. — Тебе-то что? Вали со своими архаровцами, нечего тут оружием махать!

— А ты дерзкая, Катька! — Альбинос присвистнул, будто был приятно удивлён. — Прямо вот так? Ну хорошо-хорошо. Ты только не кипятишься, подруга!

В голосе его было столько сарказма, что им можно было отравить воду.

— Смотрю, ты самая смелая. Мужики-то обделались, поди...

Он подошёл ближе. Шаг, ещё один. И остановился, глядя женщине прямо в глаза. И в его взгляде, красном, раскалённом, не было ни жалости, ни любопытства, ни злости — только холодная, абсолютная уверенность существования, которое никогда не сомневалось в своём праве решать, кто живёт и кто умирает.

А Катька смотрела на него. В её взгляде был страх и смелость, ненависть и безразличие к себе, та самая решимость человека, которому нечего терять, потому что он уже всё потерял и знает это. Она стояла твёрдо, не дрожа, не отводя глаз, и пальцы её сжимали трость так, что костяшки побелели. Она не моргнула. Не отвернулась. Не отступила.

И Альбинос увидел это. Увидел и не испугался. Улыбнулся.

А потом выхватил из кобуры пистолет, и выстрелил ей в голову.

Звук был коротким, сухим, будничным, будто хлопнули дверь. Катька упала. Просто упала, будто из неё выдернули кость, — мягко, тихо, без крика, без стога, будто и не было её. Трость покатилась по полу, стуча о камень, и этот стук звучал громче, чем выстрел.

Альбинос поднёс дымящееся дуло к губам и дунул, будто задувал свечу на именинном пироге. И в этом жесте было столько самодовольства, столько холодной, расчётливой театральности, что от него хотелось вывернуться наизнанку

— В общем так, ребята! — вскинул он голос, и он зазвучал резче, жёстче, будто терпение лопнуло, будто представление надоело, и пора было переходить к делу. — Надоел мне этот цирк. Представление вовсе не интересное. Поэтому заявляю вам официально! Ваше убежище под полным контролем меня и моих ребят! А если кто-то захочет высказать своё мнение — милости прошу. Патронов у меня хватит. Понятно?!

Но не успел Альбинос договорить, как из толпы на лестнице выскочили двое с автоматами и открыли огонь практически в упор. Люди Альбиноса ответили встречным огнём, и тоннель наполнился грохотом, визгом рикошетов, криками и эхом, которое билось о стены, будто само пространство сопротивлялось тому, что здесь происходило.

Завязалась перестрелка. Жители Ахтиара снова вверглись в панику, рванули ко второму ярусу, и лестница превратилась в живую, кричащую, давящую волну. Двое выскочивших бойцов старались отвести огонь в сторону от лестницы. Один, укрывшись за прилавками, бил точно, экономно, и уже уложил двоих. Второй, пробегая вдоль дальнего ряда лотков, стрелял без остановки, прикрывая товарища, и тоже успел уложить двоих или троих.

Люди Альбиноса стреляли не переставая, отступая к темноте, исчезая в ней, как тени возвращаются в стены. Сам вожак скрылся в тоннеле, прихватив с собой маленькую девочку, ту, которая бросилась к телу убитой Катьки, — схватил её за руку и потащил, как куклу, не оборачиваясь, не замедляя шага. Двое его сподручных тоже не растерялись. Один схватил девушку, которая только что пришла в себя и лежала на полу, вращая головой, пытаясь понять, что происходит, — это была Настя. Второй схватил паренька лет семнадцати, лежавшего рядом с

ней. Остальные, отстреливаясь, отступали в темноту и исчезали в ней. Аварийные лампы были сбиты, для пушей маскировки, и тоннель поглотил их, будто никогда никого здесь не было.

Перестрелка стихла так же внезапно, как и началась — не постепенно, не затихая, а просто оборвалась, будто кто-то нажал выключатель. Эхо ещё бегало по стенам, отскакивая от свода, но уже тише, глуше, будто и само не верило, что всё кончилось. Воздух был густым от пороховой гари, и в нём висел запах, от которого хотелось кашлять — едкий, металлический, как будто тоннель попробовал на вкус собственную ржавчину и выплюнул её обратно.

Ахтиаровцы продолжали подниматься вверх. Лестница гудела от топота, голосов, стонов раненых, и в этом гуле не было ни порядка, ни смысла — просто живые тела, стремящиеся вверх, прочь от темноты, прочь от дыма, прочь от того, что только что случилось. Сквозь толпу, навстречу бегущим, вниз спустились ещё двое бойцов — быстро, уверенно, держа стволы перед собой, и сразу взяли на мушку тоннель, в котором скрылись Альбинос и его люди. Темнота смотрела на них молча, ничем не выдавая себя.

— Савельев! — выкрикнул один из вновь прибывших, и голос его прозвучал жёстко, отрывисто, как удар топора по дереву. — Докладывай!

— А что докладывать, Сергеич? — Савельев стоял, прижавшись к стене, не отводя глаз от тоннеля, и говорил быстро, тихо, будто боялся, что темнота услышит. — Этот белый и человек шесть его шестёрок засели в тоннеле. Вышли наружу или притихли — хрен их знает. Пока тихо. Взяли троих наших. Две девчонки и пацан.

— Вот же бл...! — Сергеевич ударил кулаком по стене так, что костяшки хрустнули. — Кого взяли-то, увидел хоть?

— Да вроде Серёжку Тучного, Настюху, ну, ту, которая Кирюхина сеструха... — Савельев чуть замялся, и голос его стал тише, будто он не хотел произносить следующее. — И эта... малая... Каткина...

Он выдержал паузу. Не потому что не знал, как сказать, а потому что не хотел. Но молчание было хуже слов.

— Собственно, Катка вот... лежит...

Сергеич проследил за его взглядом. Тело женщины лежало на каменном полу тоннеля, в метрах десяти от них, на самом краю света и тьмы. Тёмное пятно вокруг головы растекалось по полу медленно, лениво, будто ему некуда было спешить. Глаза Катки были открыты и смотрели в потолок, и в этом взгляде застыло то, что бывает только один раз: последнее, что человек увидел, — улыбку Альбиноса и дуло пистолета.

Сергеич стиснул зубы так, что на скулах вздулись желваки. Он хотел сказать что-то, но вместо этого только махнул рукой и тихо, почти шёпотом, выругался:

— Суки... твари...

В этот момент парнишка, который прибыл вместе с Сергеичем, сорвался с места. Ему было лет семнадцать, худой, жилистый, с лицом, на котором страх и ярость боролись друг с другом так, что ни одна не могла победить. Он рванул к тоннелю, передёрнув затвор, и автомат в его руках дрожал — не от веса, а от того, что руки не слушались, потому что голова уже не соображала.

— Кирюха, стой!!! — Сергеич бросился за ним, схватил за плечо, рванул назад. — Стой, кому говорю?! Пристрелят, дурного!!!

— Сестра моя у них! — Кирилл вырывался, и голос его срывался, ломался, как у мальчишки, который ещё не научился бояться по-взрослому. — Чего стоять-то?!

— Ты сейчас уже ничего не сделаешь! — Сергеич держал его крепко, обеими руками, и в его хватке было не столько силы, сколько отчаяния. — Полезешь на рожон — пристрелят твою Настюху, и дело с концом! А заодно и Серёжку с мелкой! Этого хочешь?!

Кирилл замер. Дыхание его было рваным, тяжёлым, и в глазах стояли слёзы, которые он не позволял себе пролить. Он молча, стиснув зубы, посмотрел в темноту тоннеля — туда, где где-то сейчас была его сестра, — смачно сплюнул на пол и вернулся к бойцам. Автомат не опустил. Пальцы не разжал.

Сергеич на секунду закрыл глаза, выдохнул, собирая себя по кускам, и повернулся к остальным. Голос его стал другим: сухим, командным, без единой лишней ноты, будто страх и ярость были заперты где-то глубоко, под рёбрами, и наружу выходил только тот, кто умеет принимать решения, когда всё рушится.

— Так, ребята! Судя по всему, эти полудурки с мясом выдрали нашу герму, и ветерок навеет нам всякой гадости в Ахтиар. Поэтому в срочном порядке уgomонить людей и обеспечить их подъём наверх, к жилым массивам. После выйдем на разведку. На всё про всё у вас десять минут. Савельев!

— Да, Сергеич, тут я!

— Давай быстро тащи химзу и противогазы. По комплекту фильтров на брата. И ещё прихвати мне пару рожков. Бегом!

Савельев кивнул и исчез, будто его и не было. Сергеич проводил его взглядом, потом повернулся к Кириллу. Парень стоял, опустив голову, и автомат в его руках уже не дрожал — он держал его так крепко, будто это было единственное, что ещё связывало его с реальностью.

— Теперь ты, сынок, — Сергеич положил руку ему на плечо, и в этом жесте было всё: и строгость, и жалость, и понимание, и просьба, которую нельзя было произнести вслух. — Пойдёшь со мной и Савельевым. Только без выкидок. Понял меня?

Кирилл поднял голову. Глаза его были сухими, тёмными, и в них уже не было мальчишеского страха — была та самая решимость, которая приходит не от храбрости, а от того, что бояться больше некогда.

— Да понял-понял... — пробурчал он, закинул автомат за спину и двинулся к лестнице, где уже почти все Ахтиаровцы поднялись наверх.

Сергеич смотрел ему вслед, и в его взгляде было то, чего он не показал бы никому: тревога. Не за себя, не за Савельева, а за этого мальчишку, который шёл в тоннель не потому, что был смелым, а потому, что там была его сестра.

Он сплюнул, вытер рукавом лоб и тихо, себе под нос, сказал то, что думал на самом деле:

— Бл..., вот же ж задача...

И пошёл за мальчишкой.

— А ну не пищи, сучка! Кому сказал! — рявкнул Альбинос, ткнув дулом автомата в спину девочке, которой на вид было лет двенадцать, не больше.

Голос его прозвучал так резко, будто он не кричал, а рубил воздух на куски — каждый слог был острым, как лезвие. Девочка вздрогнула всем телом, будто её ударили не прикладом, а холодом, и тоненькая струйка слюны скользнула по подбородку. Она не плакала — не могла: страх выжал из неё даже слёзы, оставив только мелкую, нервную дрожь.

Отряд Альбиноса, с ним самим во главе, только что покинул стены Ахтиара. Теперь они спускались по узкой лесной тропе, петлявшей между старых, мёртвых стволов, будто сама земля не хотела их пускать. Тяжёлые ботинки бойцов давили сухие ветки, и каждый хруст звучал как щелчок капкана. Заложников тащили за собой, как якоря, и Альбинос был уверен: их не станут преследовать. А если и станут — стрелять не рискнут. В этом он был абсолютно, до тошноты самоуверен.

— Альбинос! — обратился один из бойцов, голос его звучал устало, почти обиженно. — Так они ж сдохнут, пока мы их до убежища дотащим. Ни химзы, ни протика. Нахрен надо?

— Не сдохнут! — просипел Альбинос и ещё сильнее ткнул девочку дулом, будто хотел вдавить её в землю. — Доведём. Гарантия они наша. Понял?

— Понял-понял... — пробубнил боец, опустив глаза.

— Ну а если сдохнут. скормим пискле, если что! — уже более злобно проговорил Альбинос, и в его голосе скользнула эта привычная, ядовитая усмешка. — Чё не угомонишься никак? Сказано тащить — тащи молча! Не на своём же горбу несёшь. Задолбал!

Боец замолчал, втянув голову в плечи, будто хотел стать меньше, незаметнее. Альбинос тем временем догнал другого бойца, который вёл Настю, и приблизился к ней. Он косо взглянул на её светлые локоны, потом медленно, нарочно медленно опустил взгляд ниже, на слегка выпирающую под одеждой грудь, и расплылся в похотливой ухмылке — такой широкой, что на секунду показалось, будто лицо его треснуло.

— Хороша девка! Ммм... — снова протянул он своим сиплым, будто прокуренным голосом, и, протянув руку, провёл по её волосам, зарывшись пальцами в пряди, как в добычу. — Придём домой — решу, что с тобой будет, милая.

Настя одёрнула голову, шатнулась в сторону, пытаясь вырваться из этого прикосновения, будто от огня. Боец, идущий рядом, грубо толкнул её обратно, на место, и она едва удержалась на ногах.

— Да ты не дёргайся, милая, не обижу я тебя. Любить буду. Хочешь? — Альбинос снова ухмыльнулся, и в этой улыбке не было ни тепла, ни шутки — только голая, хищная насмешка.

Настя медленно, с опаской повернула лицо к нему. По щекам стекали слёзы — не ручьём, а тонкими, дрожащими струйками, будто даже плакать было страшно. Из ноздри текла узкая струйка крови, и она не вытирала её, будто боялась, что любое движение разозлит его. Взгляд был полон страха — такого глубокого, что в нём не оставалось места ни для ненависти, ни для гордости, ни для надежды. Только страх, чистый и тяжёлый, как свинец.

— О-ё-ёй... — произнёс он, покачав головой, и, взяв девушку за подбородок, приподнял её лицо, заставляя смотреть на себя. — Это ж кто тебя так? Мои, что ли? Вот он?

Настя рванулась, вырвав голову из его хватки, и чуть не упала.

— Да ты только скажи, милая. Я ж сразу накажу твоего обидчика! — снова проговорил он, и в голосе его скользнул смех, тонкий, как лезвие бритвы.

Боец, идущий рядом, напрягся, сильнее сжав в руках оружие. От жоака стоило ожидать всего, чего угодно. Тем более что именно он прикрывался при отступлении Настей — держал её перед собой, как щит, и в этом не было ни стыда, ни расчёта, только грубая, звериная уверенность в собственной безнаказанности.

— Ну да ладно. Ты лучше расскажи о себе. Дорога дальняя, скучная, а так всяко веселее будет, ммм... — он снова наклонился к ней, будто собирался шепнуть что-то на ухо, и Настя зажмурилась, втягивая голову в плечи.

— Альбинос! — перебил впереди идущий боец, голос его дрожал от напряжения. — Там внизу, у дороги, какое-то движение! Лисы, походу, бродят.

— Так проверь! Видишь, я с дамой общаюсь! — рявкнул Альбинос, и от этого крика даже деревья будто пригнулись.

Боец щёлкнул затвором автомата — резкий, металлический звук, от которого у всех внутри всё сжалось. Он дал сигнал отряду замедлить ход, а сам спустился чуть ниже, в заросли, и стал всматриваться в полумрак, пытаясь разглядеть, что прячется за сухими ветками.

Житель леса не заставил себя долго ждать. Из темноты, из самой густой тени, на тропу вышло нечто, напоминавшее лису. Только это была не лиса. У твари были чересчур большие клыки, выпирающие из верхней челюсти, будто природа ошиблась и дала ей пасть хищника, а тело — маленького зверя. Всё тело существа было покрыто кровавыми и гнойными ранами, шерсть слиплась, кожа висела лоскутами, и от него шёл запах — тяжёлый, гнилостный, от

которого хотелось зажать нос и бежать. Тварь рычала, низко, утробно, и уже сгибала задние лапы для прыжка, готовясь броситься на первого, кто окажется ближе.

Но прежде чем она успела прыгнуть, прогремел выстрел.

— Твою бабушку! — заорал Альбинос, будто его самого подстрелили. — Чё ты как тёлка телишься? Ждал, пока сиганет на тебя?! Ну дилетанты! Ну я вам устрою, когда вернёмся!

Он орал, брызжа слюной, и слова его летели, как камни, ударяя по нервам, по самолюбию, по любой попытке оправдаться. Разозлившийся вожак уже не обращал внимания на Настю, не смотрел на её слёзы, не замечал её страха. Для него в этот момент она перестала существовать — была просто грузом, помехой, фоном. Он сыпал матами, и в каждом ругательстве сквозила та же самоуверенность: он знал, что его боятся, и пользовался этим, как оружием.

Спустя минут пять отряд вышел из леса к старой асфальтированной дороге. Асфальт был потрескавшимся, поросшим травой, будто земля пыталась затянуть шрамы цивилизации. Вдали виднелись руины какого-то здания, а над ними висело серое, тяжёлое небо, будто готовое упасть. И в этом пейзаже, в этой тишине, нарушаемой только тяжёлым дыханием бойцов и тихим всхлипом девочки, было что-то окончательное — будто здесь, на этой дороге, начинался новый, ещё более страшный мир, где правила устанавливал только один человек. И он шёл впереди, расправив плечи, с автоматом наперевес, и даже тени, падавшие на асфальт, казались покорными ему.

Сергеевич, Савельев и Кирилл подошли к восточному portalу. Здесь воздух был другим — не тем затхлым, пропитанным запахом сырости и металла, к которому они привыкли в Ахтиаре, а колючим, холодным, будто сотканным из тысяч ледяных игл. Развороченная гермодверь лежала у входа, перекошенная, вывернутая из петель, как сломанная кость. Её массивные петли были разорваны, металл вспучился и почернел от жара — заряд, которым её подорвали, был достаточно мощным, чтобы вывернуть эту железяку, будто она была не бронеплитой, а жестяной банкой.

Холодный ветер задувал в тоннели Ахтиара и разлетался тоскливым воем, напоминавшим волчий. Он гудел в пустых проходах, свистел в щелях, будто искал, кого бы утянуть за собой в темноту. У Кирилла по спине пробежали мурашки, и он невольно втянул голову в плечи. Щёлкнув затвором автомата, он сделал шаг следом за Сергеевичем. Позади, тяжело дыша, шагал Савельев.

Это был первый раз, когда Кирилл оказался вне стен Ахтиара. Двадцать лет он прожил под землёй, не видя солнечного света. Двадцать лет не видел ничего, кроме бетонных стен и света электрических ламп. Все эти годы он представлял себе мир по картинкам и фотографиям — по выцветшим снимкам, где деревья были ярко-зелёными, небо — бесконечно синим, а воздух — чистым. Он думал, что мир будет красивым. Но сейчас, стоя среди мёртвого леса, где деревья стояли, как чёрные скелеты, а трава была серой, будто покрытой пеплом, он чувствовал не восторг, а странное, щемящее разочарование.

Даже сейчас, видя перед собой непроходимый лес, среди которого укрылся Ахтиар, парню казалось, что тут так много свободного пространства, что можно было бы свободно бегать, прыгать, разгуляться по полной. Он смотрел по сторонам, стараясь уловить каждую деталь нового мира, запомнить всё, что было перед глазами, насладиться естественным светом, который пробивался сквозь кроны, будто сквозь рваную ткань. Но единственное, что он не мог сделать, — это вздохнуть полной грудью. Крымский воздух, который некогда был сладок и приятен, мог полностью напитать человека энергией. Теперь он был отравлен, нес в себе лишь одну смерть — медленную, долгую и мучительную.

Буйство мыслей и эмоций пришлось остановить. Сергеевич резко поднял руку, подавая сигнал остановиться и притихнуть. И в этот момент лес будто затаил дыхание.

Из глубины чащи донёлся приглушённый противогазом, но всё равно узнаваемый голос Альбиноса:

— Так проверь! Видишь, я с дамой общаюсь!

Сергеевич поднёс указательный палец к стеклу противогаза, давая понять: надо сидеть тихо, не шевелиться, даже не дышать. Ветер дул в их сторону, и поэтому Кирилл и остальные отчётливо слышали голоса Альбиноса и его людей — как будто те стояли не в сотнях метров, а прямо за спиной.

Но лес не молчал. Среди человеческих голосов проскальзывали другие звуки — странные, чужие. Где-то хрустнула ветка, будто кто-то наступил на неё, но никто не прошёл. Потом раздался короткий, сухой треск, похожий на щелчок челюсти. А следом — низкий, утробный звук, похожий на стон, только не человеческий. Кирилл вздрогнул и крепче сжал автомат. Ему казалось, что лес наблюдает за ними, слушает, ждёт.

Через секунд тридцать прозвучал выстрел. Резкий, сухой, он ударил по ушам, а потом снова понеслись вопли Альбиноса — злые, резкие, будто он рубил воздух словами. Кирилл крепче сжал в руках оружие и продолжал неотрывно смотреть на Сергеевича, ожидая от него очередной команды. Его сердце колотилось так, что, казалось, его слышат даже в лесу.

Когда голоса перестали доноситься, Сергеевич дал команду двигаться. Они пошли вниз по склону, тихо, стараясь не хрустнуть даже самой маленькой веточкой под ногами, не выдать себя ни звуком, ни движением. Каждый шаг давался с трудом — ноги будто налились свинцом, а земля была неровной, усеянной корнями и камнями, скрытыми под слоем опавшей листвы.

— Мы их догоним? — прошептал Кирилл, голос его дрожал, но он старался держать его ровным.

— Да, только не сразу, — так же шёпотом ответил Сергеевич. — Вот ведь чертяка, не боится палить среди бела дня. Ещё писклю приманит, не приведи Господь.

— Далеко их убежище? — снова спросил Кирилл.

— Антонов говорил, за виноградниками. Точнее не скажу, — Сергеевич на секунду задумался, будто прикидывал расстояние в уме. — Далековато, в общем. Не бойсь, догоним.

Отряд продолжил спускаться. Тишина вокруг была обманчивой: она не означала покой, она означала, что опасность притаилась где-то рядом, выжидает.

Через минут десять Кирилл и остальные спустились к дороге и залегли у большого корня дерева — он был вывернут из земли чем-то или кем-то очень мощным, будто здесь прошёл гигант и просто выдернул его, как сорняк. Отсюда открывался хороший вид на всю дорогу до самого поворота. И они увидели вдаль Альбиноса и остальных. Фигуры были маленькими, чёрными, двигались медленно, устало, но уверенно.

— Сидим тихо! — проговорил Сергеевич, голос его был тихим, но твёрдым, как сталь. — Мы у них на хвосте, так и будем держаться. Открывать огонь опасно, думаю, не стоит объяснять почему. Дождёмся их привала, а там уже по ситуации. Понятно?

Савельев и Кирилл молча кивнули. Они лежали, прижавшись к земле, и смотрели вперёд, не отрывая глаз. До отряда Альбиноса было не больше трёхсот метров.

Вдруг среди людей Альбиноса началась потасовка. Один из них начал бить другого прикладом автомата — удары звучали глухо, как удары по мешку с песком. Сам вожак кинулся их разнимать, а ещё двое влезли в драку, и на секунду всё смешалось в одну тёмную, дёргающуюся массу.

И в этот момент в сторону леса бросилась бежать девушка. Без химзы, без противогаза, только в рваной куртке, она рванула вперёд, будто сама скорость могла её спасти. Она метнулась в чащу, исчезла за деревьями, и в ту же секунду прозвучала автоматная очередь. Опавшая листва взлетела, подорванная пулями, отправленными вслед девушке. Листья кружились в воздухе, как серые бабочки, и медленно опускались обратно.

Потасовка остановилась. Люди замерли, глядя туда, где только что была девушка.

В убегающей в лес Кирилл и остальные узнали Настю.

Глава 4

Шельма

Человек, звавший нас к себе, не вызывал ни капли доверия. Ни защитного костюма, ни противогаза, ни даже банального респиратора — ничего. Он стоял перед нами, будто в обычной городской прогулке, а не посреди отравленного мира, где каждый вдох мог стать последним. Первая мысль, которая обожгла меня: «Подстава!» Уж больно неожиданно он появился — будто вырос из асфальта, и так же неожиданно вызвался помочь, будто знал, что мы вот-вот сломаемся от усталости и хватанем любую соломинку.

— Там на крыше их логово. Трое парней лет по восемнадцать и четыре девушки, такого же возраста. Молодые... — начал он, и голос его звучал слишком ровно, будто он читал заученный текст.

Я скользнул взглядом по его лицу: в уголках глаз — лёгкие морщинки, будто он часто щурился от ветра, но кожа была неестественно чистой, без следов радиации, без шелушения, без той сеточки мелких трещин, что покрывала всех, кто хоть раз выходил под открытое небо. Интересно, откуда такие сведения насчёт их возраста? Неужели и впрямь он один из них? Ведь на вид нашему «спасителю» больше двадцатки не дашь. А может, он просто слишком хорошо сохранился — или вообще не человек.

— Я проведу вас через дворы к основной трассе, и вы благополучно покинете Штурмовое... — говорил парень, украдкой осматривая каждого из нас, будто оценивал, сколько мы стоим на чёрном рынке выживших. Его взгляд цеплялся за наши ремни, за магазины с патронами, за наши усталые, прокопчённые лица — и в этом взгляде не было сочувствия, только расчёт.

— Так! — перебил его Антонов, и в голосе его прозвучала та самая жёсткость, от которой даже я невольно выпрямился. — Тебя звать-то как, проводник?

— Ромкой.

— Допустим, — Антонов осматривал парня с ног до головы, медленно, будто раздевал взглядом, выискивая скрытые швы, метки, что угодно, что выдаст ложь. — Откуда ты тут? Почему помочь нам решил? Защита твоя где?

Ромка на секунду замер, будто слова Антонова ударили его физически, и только потом ответил:

— Живу тут, недалеко, в подвале старого магазина. Там ещё мамка моя, дед и Васька, брат мой. А защиты не было у нас никогда, с рождения...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.